

Хамид Исмаилов

МБОБО

Роман

Хамид Исмаилов родился в 1954 г. в г. Токмак Киргизской ССР. Автор более тридцати книг поэзии, прозы, переводов. Пишет на нескольких языках. Живя последние пятнадцать лет в Лондоне, больше известен в англо- и франкоязычном литературном мире, нежели в России. Роман “Железная дорога” завоевал несколько премий в Британии и США.

Журнальный вариант.

Он чувствовал, что он для них род какого-то редкого зверя, творенья особенного, чужого, случайно перенесенного в мир, не имеющий с ним ничего общего.

А.Пушкин

Литера первая

Хиазм

Я — нагулянный сын Москвы. Мать моя — уроженка какого-то сибирского городка, то ли Абакана, то ли Тайшета, носившая в паспорте это странное имя — Москва (хотя все звали ее за глаза Марой, Марусей), понесла меня от одного из дружественных спортсменов-африканцев в год московской Олимпиады, а может быть, и раньше, на стадии подготовки к ней. Она была лимитчицей, и их выставили дружинниками в Олимпийской деревне. “Нас выставили, а нам вставили!” — объясняла она позже спьяну. Так и получился я — смесь бульдога с носорогом: Кирилл по имени Мбобо. Мать моя умерла, когда мне было восемь, я сам — немного лет спустя, попав под метропоезд. Вот и вся моя московская жисть. А все остальное — одни тленные, позднего цветения воспоминания...

Когда твоя большей частью непрожитая хакасско-негритосовская жизнь обречена быть проведенной под землей, самым близким твоим другом становятся не черви, высасывающие твои раскосо-лиловые глаза, не корни косматых елей, вытягивающие из тебя темную краску на ночь, и даже не другие мертвецы, каждый из которых гниет в одиночку, а городское метро. И не потому, что, когда тебе исполнилось пять лет, протрезвевшая мать за неимением денег подарила тебе разноцветную схему метро и сказала: “Это твой портрет, мое топырчатое солнышко, Мбобо!”, и не потому, что я всегда убегал от страхов и наваждений наземной жизни в царство, где сам становился бледной тенью, не отличимой ни цветом, ни судьбой, и даже не потому, что дни мои кончились в нем, а ночи начались по соседству, нет! Просто — пройдет по земле гуд, расстелется дрожь проходящего неподалеку поезда, и кости невольно начинают биться друг о друга, зубы начинают стучать в такт, и мураши, устроившие здесь свое жилище, начинают бежать врассыпную по той темноте, где когда-то была кожа.

“Граждане пассажиры, прибывающий поезд дальше не идет. Просьба, освободить вагоны...”

Станция метро “Комсомольская”

Первая книжка, которую купила мне мама, была книга о страшном цветке по имени Барвинок. Я боялся оставаться наедине с картинками этой книжки и особенно с косматым рисунком колючего репейника, топорщившегося со страницы во все стороны. Однажды я решил избавиться от этой книги, вышел со спичками на лестничную клетку нашего общежития к мусоропроводу, подпалил книгу, и вот этот Барвинок с сухим репейником вспыхнули так, что огонь, как этот страшный, разлапистый репейник, перебросился на мои шаровары, и я завопил от ужаса. Выбежали соседки, стали катать меня по полу, сбили пламя, но не страх, что орал во мне нечеловеческим голосом: “Только маме не скажите... только маме...” Но маме рассказали, как только та вернулась с улицы, и тогда она выпорола меня в нашей комнатухе толстым женским ремнем.

Я помню, как визжал от боли, но еще сильнее боялся того, что мама сейчас остановится и скажет самое страшное: “А ну-ка собирай вещи и уходи к своему отцу!” Куда, в какую черную и жаркую Африку должен был я идти?! Но, исхлестав: — “Будешь еще?! Будешь?!” — она вдруг оставила меня, уткнувшегося в жаркую койку, стала сыпать в угол сухую кукурузу, а потом ткнула меня в нее голыми коленями: “Теперь будешь знать!”. Так мстил мне этот вонючий репейник, усмевавшийся со стены, притворившись схемой метро...

Позже мой первый отчим, которого мама велела называть не дядь-Глебом, а уже “папой”, подарил мне книгу с рисунками сказочного подземного города под названием “метро”, а потом и букварь с похожими картинками. Меня нередко оставляли одного в комнате общежития, и вот зимой, сидя перед окном с ватой между двумя рамами, я то рассматривал с опаской обе эти книжки, где рисунки были яркие, как будто сделанные наслонявленным карандашом, а то глядел в синюю московскую темноту, которая была чем-то сродни этим нетутошным рисункам, да и моему подвойному, запуганному нутру. Уж не навлечет ли и эта книга на меня какую беду?

В те же три или четыре года мне приснился подземный город, полный разноцветных огней. Причем именно в силу своей подземности или подпольности он был расцветчен куда ярче, чем все то, что я видел наяву, и почему-то именно этот город мне хотелось назвать самым близким мне словом — “Москва”. Лампочки светили в нем как звезды, гранит и мрамор сверкали благородной полировкой, и в нем была та особая нездешность, когда даже темнота становится теплой и жилой. Эта домашняя темнота не различала цвета лиц — все они сверкали и светились отражением тех самых подземных звезд и подземной луны, подземного мрамора и подземного гранита, и я признал сие царство своим. Я видел этот сон несколько раз кряду.

А однажды “папа” взял меня с собой в Москву с Химок-Левобережных, где мы жили в то время у него вместе с мамой. В зимней электричке все разглядывали меня, как разглядывают зверюшку в зоопарке, потом мы вышли на площадь, где я увидел Кремль, но “папа” сказал, что это всего лишь Ленинградский вокзал, и перейдя через площадь, мы оказались у массивных храмовых дверей.

Вы ведь помните вход в метро по выходе из Казанского вокзала? Царские двери, распахнутые настежь под одиннадцатью фонарями, над которыми простирается огромная арка с огромными буквами “Метро”, а поверх арки, как зубчатый символ Москвы, — зигзаг широко расставившей ноги буквы “М”, светящейся рубиновым светом...

Я чуял своим темным нутром, что вхожу в новый мир, ударивший в эти распахнутые настежь двери запахом спрессованного воздуха, что бывает в церквах, куда иногда меня заводили дядь-Глеб с мамой. Но там к нему примешан еще и запах елейного тлена. Здесь же воздух отдавал мускулистым потом. Люди с чемоданами и баулами шли, как мураши, к турникетам. Я знал две сказки, которые могли мне помочь: одна — о мальчишке-сироте, чья мать ушла в разверзшуюся скалу, и надо было сказать: “Скала — расколись!”, а вторая — об Али-

Бабе, спустившемся в пещеру по своей воле с заветным словом “Сим-сим”. Первая пугала, вторая щекотала любопытство.

“Папа” подвел меня к железному ящику, висящему на стене, и опустил в него маленькую монетку. В ответ из ящика посыпались крупные пятаки. Ах, как щедр был этот мир! Дядь-Глеб вручил мне пятак, чтобы я самостоятельно проскочил в створ, когда разойдутся металлические клешни с резиновыми облатками на концах и на мгновение откроется дорога туда... С kloкочущим сердцем я долго оглядывался на только что преодоленный вход в этот мир, где, уходя в безвестное, вниз, сверкали лампы, мимо плывущих фигур. “Папа, почему мы отклоняемся назад, а те, кто едут навстречу, наклоняются вперед?” — тараторил я от возбуждения на эскалаторе, пряча за любопытство свой страх. “Нет, малыш, и мы, и они стоят прямо, просто наш эскалатор идет вниз, а их — поднимается вверх. Это называется иллюзией зрения...” — объяснял мне дядь-Глеб. “А что такое иллюзия зрения?” — “Это ты узнаешь, когда вырастешь”. — “А когда я вырасту?” — “Когда поймешь, что такое иллюзия зрения”.

А ведь я чуял, что и эти нелепые вопросы, и замысловатые ответы, все то, что оставалось за спиной, наверху, — было суетливо затолпленным и бестолковым, но здесь, по мере движения вниз, каждый стоял по собственному ранжиру, отделенный от другого ступенькой, и с той же чинностью и молчанием, как плыл мимо лампад, сей ряд плавно переходил в вертикальную линию, как будто бы ты слетал с лыжного трамплина.

И я летел за руку с дядь-Глебом, оторвавшись от эскалатора, на который уже не оглянешься, летел в подземный снежный дворец — царство мрамора и белого камня, в царство столпов вместо колонн и бесконечно простертого купола вместо потолка... Я никогда в потусторонней наземной жизни не видел подобной роскоши, и “папа” мой, как опытный проводник, не торопил меня, глазающего на свое подземное царство, он медленно и торжественно вел меня от могучего столпа, уходящего по расписной дуге в купол, к столпу, разукрашенному завитками каменных листьев. Этот мир толчками входил в мое гулкое сердце, и я ощущал, что мы погружаемся друг в друга навсегда и что никому не вытащить ни меня из него, ни его из меня обратно...

Но вдруг в шорох и шелест людей вплелся некий тонкий свист и, утолщаясь, взрезал пространство между столпами скрежетом и стуком, а еще резкой голубой с прозеленью полосой, и я сжался от страха в комок, когда отчим сказал мне: “Идем!”

Это был поезд метро. Нет, это было само метро, двери его разошлись, из них брызнули люди, и вдруг пустота, оставшаяся вместо этих людей, стала засасывать тех, кто стоял на перроне, включая и нас. “Осторожно, двери закрываются!” — раздался беспринадлежно-хриплый голос, и я своим темным нутром еще раз ощутил, что мне с этого пути нет теперь возврата, и только безвестность, придобренная тем самым сиплым голосом: “Следующая станция “Лермонтовская””, — ждала меня впереди.

Я так и не доехал до “Лермонтовской”, я навсегда остался на той, первой станции из-за моих слез. Если в чем-то я был обманут не на жизнь, а на смерть, то это тогда в метро. Питаемый собственными снами и картинками из букваря, я меньше всего ожидал, что мраморный дворец станции внезапно оборвется и начнется просто темный тоннель, хлынувший из меня произвольными слезами детского непрощающего разочарования. Я не мог поверить глазам, столь очевиден был этот грубый обман — километры и километры червячьей темноты и всполох лживой станции — теперь уже другой, потом еще одной — иллюзорной, обманчивой, эфемерной, вопреки моим снам о моем подземном городе, который никогда не кончается... Это все равно, как нарисовать картинку на первой странице букваря, а потом оставить пустые листы, чтобы на десятой или на двенадцатой странице перебить эту пустоту еще одной цветной картинкой, нарисованной наслонявленным карандашом. Беспрерывность моего детского мира

была сломлена раз и навсегда. Как теперь я понимаю, там и тогда я был выброшен вопреки своей воле в латаный-перелатаный мир взрослых, в иллюзию зрения...

Станция метро “Дзержинская”

Черное тело мое помнит, как оно доехало в тот первый раз через всплески и сполохи станций, соединенные друг с другом долгой и шумной темнотой, до темного мраморного подвала с массивными стенами и узкими проходами к выходу. Тонкая линия света тянулась по полукруглому насуспенному потолку, и светившая ей навстречу табличка станций образовала крест над нашими головами, под которым мы угрюмо шли к выходу. Мне не хватало воздуха — то ли от безудержного плача, то ли от духоты этого подвала: однажды мама, играя со мной на койке, вдруг набросила на мою голову толстое ворсистое одеяло и стала хохотать: “Ты видишь там Африку?” Я пытался вырваться из-под одеяла со смехом, но мать перекрыла руками и ногами все выходы, и мне внезапно стало страшно в этой жаркой темноте. От страха я стал задыхаться; задыхаясь, я, казалось, терял всякую силу сопротивляться; обессиленный, я захлебнулся ужасом... Когда мать со смехом сбросила с меня черное одеяло, я был без чувств.

Это же ощущение охватило меня в подвале станции, с которой наверх меня тащил отчим, и мне казалось, что вот-вот темнота этих бесконечных пролетов метро, довлеющих над редкими прорезями станций, охватит меня, как одеяло, с головой...

Но мы вышли из такой же арки, в какую и вошли, где опять перед нами в снегу белела огромная московская площадь с одиноким безоружным солдатом-стариком посередине. Отчим повел меня окраиной площади в “Детский Мир”. Такого магазина я не видел во всей своей предыдущей четырехлетней жизни.

Лишь только мы вошли в зал с огромной елкой, огромными часами и баллюстрадами зрителями по бокам, как меня тут же оглушило, ошеломило величие всего в этом зале, да так, что я мигом позабыл свое метро. Я казался таким крошечным и убогим в этом великолепии и, чуя взгляды, посыпавшиеся на меня как игрушечный снег с баллюстрад, перепугался, что сейчас меня попросят сплясать что-нибудь задорненькое или рассказать перед елкой какой-нибудь стишок, наподобие вбитого мне в голову в детском саду:

Добудь я и негра при клоуне годов,
Автобус унынья и лени,
Яру скобу выучил Толька зато,
Что им разговаривал Ленин...

Из всего этого стихотворения я понимал лишь негра — подмастерья клоуна, наверняка моего отца, и, с другой стороны, дедушку Ленина, собиравшего детей вместе с Толькой из нашего детского сада к себе под елку и “разговаривавшего им”, глядя их по головке.

Но отчим покружил меня вокруг елки, как будто сам был Дедом Морозом, а я — Снегурочкой, и потом на выходе встал в очередь к лавочке, оставив меня стоять перед огромным стеклом с тремя неподвижными детьми в нем. Впервые в этой жизни дети не бежали ко мне, не допытывались ни у меня, ни у своих родителей: “А почему он черный? Он — негр, да?”, и оттого я вдруг почувствовал редкую приязнь к этим двум мальчишкам и одной девчонке, что смотрели вдаль и сами по себе. Я окликнул их, они не шелохнулись. Я подумал, что стекла слишком толстые, чтобы они услышали меня, и постучал по стеклу. Они все так же, не отрываясь, смотрели куда-то на середину заснеженной площади, где одиноко торчал тот солдат в шинели — наверное, их дедушка. Я помахал им рукой, но в ответ увидел лишь свое обезьянье отражение, и мне стало стыдно перед этими серьезными детьми.

Когда отчим вернулся с разноцветным подарочным мешочком в руках, я спросил его: “Это

— октябрятя?” Отчим ответил мне еще загадочней: “Нет, это — витрина, а они — манекены”. — “А можно, они будут моими друзьями?” Отчим усмехнулся и кивнул в знак согласия. Он предложил мне открыть свой подарок перед ними, и я, стоя напротив новых друзей, полез своей мордочкой в сверкающий мешочек, полный шоколадных конфет, печенья, мандаринов, и с самого дна извлек завернутую в хлопушку игрушку. “Ты, братец Пушкин, держи двумя руками, а я дерну!” — предложил дядь-Глеб, и я, боясь поскользнуться на снегу перед новыми серьезными товарищами, крепко схватился за свой конец хлопушки. Дядь-Глеб досчитал до трех и резко дернул. Раздался хлопок, и на белый, незатоптанный снег под витриной упала между нами черненькая, голая негритянка в тазике...

Станция метро “Парк культуры”

Я плакал всю дорогу, но плакал в этот раз, как те самые мои друзья с витрины — манекены, не показывая слез. Глаза мои глядели так далеко, что я уже не замечал смены станций и темных пролетов, пока нас не вынесло из вагона, где все разглядывали меня, а я не смотрел ни на кого. Вынесло нас на станцию с лесом тонких египетских колонн, за которые хотелось прятаться. Правда, в этом лесу колонн лампы на потолке почему-то напоминали клумбы перевернутых тортов, и отчим объяснил: “Это — “Парк культуры””. Мы выехали, уже, как бывалые, наружу, оставили за спиной массивное здание с куполом, долго шли по наветренному мосту, развешанному, как мамино белье, за ляпочки, и, наконец, вошли в Парк культуры.

Народу здесь было полно, особенно же у аттракционов и эстрад, но отчим знал, куда мы идем, и потому мы, не задерживаясь, углублялись внутрь парка вдоль белой реки. В отличие от остальной Москвы, где не видно крыш и скрыто небо, здесь снег лежал на деревьях и скатах теремков, оттого зима тут была настоящей, наподобие нашей на Левобережной. А одна березка, что оказалась в одиночестве на самой солнечной стороне, и вовсе превратилась в ажур с миллионом сосулечек вместо листьев, и они звенели от любого дуновения ветерка со стороны Москвы-реки.

Мимо краснолицых лоточников в ушанках и фартуках, тех, что хлопали своими крагами и пускали пар, мы вышли наконец на площадку, где была установлена огромная елка со стылым хороводом детей и родителей вокруг нее. Мы пробрались поближе, дядь-Глеб посадил меня на плечи, и я увидел Деда Мороза, развлекавшего народ своей живой мартышкой, одетой под Снегурочку. Когда мы оказались рядом с бечевкой, ограждавшей круговую толпу от елки и площадки перед ней, дядь-Глеб поставил меня на землю и громко крикнул в никуда: “Лелик!” Я заметил, как Дед Мороз, развлекавший толпу, оглянулся на нас и медленно, продолжая дразнить мартышку, двинулся в нашу сторону. “А сейчас, дети, мы с Антошкой-Снегурком разыграем наш приз, который прячется вот в этом мешочке. А мешочек этот я принес из леса дремученного, леса лианного. Антошка, ты хочешь разыграть свой приз?” Обезьянка закивала головой, и дети завизжали от восторга. “А вы, дети, хотите разыграть приз?” Под эти слова Дед Мороз уже совсем приблизился к нам, и пока детвора всклад кричала: “Хотим! Хотим!”, а кто-то вперебив и вовсе: “Хочем! Хочем!”, Дед Мороз, стоя спиной к нам, обернул голову к отцу и проворно спросил: “Который твой?” Отец подтолкнул меня в спину, отчего я чуть не упал, повиснув, к счастью, на бечеве. “Значит, хочем?” — крикнул Дед Мороз, и все расхохотались. А он все так же, вполголоса, спросил: “Черненький?” Отчим подтолкнул меня еще раз. “Вот, давайте, кого выберет Антошка, тот и выиграет приз! Ра-аз!” — Дед Мороз, державший мартышку на плече, повернулся вокруг себя. Все запоздало подхватили: “Рра-а-аз!” — “Два-а! — “Дв-в-а-а!” — “Три!”, — и, пока дети кричали невпопад: “Тр-р-р-и-и!”, — Дед Мороз легким движением подтолкнул мартышку со своего плеча, и она вдруг прыгнула на меня, крепко

обхватив двумя когтистыми и мягкими лапами оба моих плеча и ногами упершись в мой живот. Я конечно же перепугался насмерть, и когда открыл глаза, мордочка мартышки в белом чепчике глядела на меня запуганно-тоскливыми обезьяньими глазами, а вся толпа гикала и орала: “Еще одна мартышка!” — “Где? Где?” — “Во-он, смотри!” — “Одетая под человека!” Дед Мороз наклонился, дыхнул водкой и поднял на руки нас обоих, чтобы вывести в центр круга. В моей голове все зазвенело, и я уже не слышал того, что кричала визжащая толпа, я не видел того, что доставал из своего мешка Дед Мороз... Все что помню — это жалкие глаза скрюченной посреди русской зимы мартышки, совсем не похожей на игрушечную, которая досталась и осталась со мной после этого Парка культуры...

Станция метро “Таганская”

Было совсем темно, когда мы вышли со станции “Таганская” на небольшую площадь и я увидел еще один Кремль, который отчим теперь обыденно назвал домом на Котельнической. Площадь высвечивала небольшой угловой дом в два этажа, и мы направлялись к нему. Несмотря на вечерний мороз, множество людей толпилось у этого дома, и по мере нашего приближения к нему они стали спрашивать у отчима: “У вас нету лишнего билетика?” Отчим, еще не протрезвевший окончательно, дергал меня за руку так, что я на какое-то время провисал в воздухе под его грубую усмешку: “Вот мой билет!” Люди растерянно расступались, пока кто-нибудь другой не задавал тот же самый вопрос и не получал тот же самый ответ.

То же самое отчим проделал и перед контролерами у входных дверей: я провис на какое-то мгновение и вдруг оказался внутри здания, пока отчим шептал что-то на ухо интеллигентной старушке. Фойе было аккуратным, как в поликлинике или в парикмахерской, правда, глубже, там, где люди толпились перед входом в зал, на огромной стене висели фотографии и какие-то динамики, обозначая продуманный беспорядок. Но мы обошли людей и пошли сначала лестницей, где стояли один за другим, ступенька за ступенькой, как сегодня на эскалаторе, пять или шесть Пушкиных, хотя, поскольку меня самого называли всегда Пушкином, то я так и сказал: “5—6 Пушкинов”. Потом мы прошли какими-то коридорами, пока навстречу нам не вышел дядя Лелик — Дед Мороз и не повел нас в одну из пустых гримерных.

Там мой отчим сказал: “Ну что, Лелик, вруби, что ли!” Дядя Лелик включил магнитофон, и неожиданно очень громкий и хриплый голос заревел:

Я бегу, топчу, скользя
По гаревой дорожке, —
Мне есть нельзя, мне пить нельзя,
Мне спать нельзя — ни крошки.
А может, я гулять хочу
У Гурьева Тимошки, —
Так нет: бегу, бегу, топчу
По гаревой дорожке.

Отчим предложил выпить, и они с дядей Леликом хряпнули по стакану в честь какого-то “Володьки”. Потом дядя Лелик обернулся ко мне и сказал: “Твоего дружка Антошку-то пришлось отправить к ветеринару: объелся всякой дряни на елке... Но я тебе приготовил другое занятие. Будешь сидеть здесь и слушать сказку про Али-Бабу... Ксати, знаешь такого? А еще про сорок разбойников?” Я согласно кивнул, хотя сорок разбойников напугали меня. “Отца твоего мы проведем в зал, а я буду присматривать за тобой. Идет?” Я опять кивнул.

Отчим ушел с дядей Леликом, оставив мне игрушечную мартышку из своего портфеля вместе с двумя сырно-колбасными бутербродами. Теперь я был в гримерной один, и тот же

хриплый голос пел про моего папу:

А гвинеец Сэм Брук
Обошел меня на круг, —
А вчера все вокруг
Говорили: “Сэм — друг!
Сэм — наш гвинейский друг!”
Друг гвинеец так и прет —
Все больше отставание, —
Ну, я надеюсь, что придет
Второе мне дыхание.

Я стал озираться по сторонам. Впереди прямо напротив трельяжного зеркала, стоял стул, на спинку которого была накинута кожаная куртка, а на самом стуле, опершись о куртку, стояла играная-переиграная гитара. В углу, за гитарой, пряталась белая фарфоровая ваза с портретом какого-то хмурого человека. Перед трельяжем на столике стояло вразнобой несколько баночек, цилиндриков, коробочек. Две голые лампы на длинных и кривых ножках торчали по двум сторонам стола, и за дальней из ламп на стене висела фотография того самого сердитого и волосатого человека с вазы. Правда, на этой большой фотографии со своей гитарой он казался добрее...

Пока я разглядывал комнату, вернулся дядя Лелик, неся радиолу, которую он поставил на маленький столик передо мной, выключил хриплого человека, допевающего про моего бегуна-отца:

Третье за ним ищу,
Четвертое дыханье, —
Ну, я на пятом сокращу
С гвинейцем расстоянье!
Тоже мне — хороший друг, —
Обошел меня на круг!
А вчера все вокруг
Говорили: “Сэм — друг!
Сэм — наш гвинейский друг!”

В тишине он покопался в розетке и поставил играть пластинку. Пластинка зашуршала, и раздалась музыка. Сначала я насторожился, думая, что опять зазвучит тот оглушительно страшный и хриплый дядя, но здесь сладкие голоса затянули: “Перция, перция...”

Я не понял слов и напрягся. О перце, что ли, поют? Перец и я? Или что-то другое? Дядя Лелик, приплясывая, исчез, и я опять остался один на один с этими голосами, этой сказкой, которую едва понимал, но которая не пугала, вопреки своему страшному названию.

Мама мне часто рассказывала на ночь хакасскую сказку “Ярил тас”. Я ее уже вспоминал сегодня, когда входил впервые в метро. В ней мать и сын живут так бедно, что однажды богатый злодей хочет силком жениться на матери, а она убегает в горы и прячется в скалу. Сын ее ходит тайком ото всех к этой скале и поет песенку: “Расколись, скала, дай увидеть мне мою маму...” Когда я плакал от этой сказки, глядя маме в лицо, она говорила: “Не будешь слушаться, уйду в горы, спрячусь в скалу и не открою ее тебе! Ну-ка, спи теперь!” И я крепко закрывал глаза, из-под которых, как из этой скалы, просачивались мои слезы, слезы страха потерять маму...

Путая эту сказку с пластинкой, я очень быстро уснул, и мне снилась пещера, выстроенная изнутри наподобие дворца, где сверкали хрусталь и позолота, где люди ходили чинные и молчаливые, как рыбы в аквариуме, где ни одна, но тридцать три разбойные мартышки вдруг

появились на эскалаторе, волна за волной, ступенька за ступенькой, съезжая сюда, в подземелье; и вдруг гик и гвалт поднялся вокруг, и все закружилось в вихре их танца; и хрусталь раскрошился в осколки, и позолота осыпалась пылью, и темнота пронзила пещеру, и я понял, что мне снится мое московское метро, в котором, как страх, звучит мамино: “Осторожно, двери закрываются...”

Литера вторая

Станция метро “Автозаводская”

Гнить в мерзлой и вязкой московской земле немногим хуже, чем, не помня себя, расти в теплом и склизком чреве у матери. Разве за вычетом того, что кожа уже не тянет постоянно маловатым размером, хотя цвет ее одинаково темно и неразлично сливается в обоих случаях с темнотой вокруг. Хуже и мучительней с невыносимой тяжестью бесплотных воспоминаний, лежащих на тебе годовыми, десятилетними слоями земли и принадлежащих не только тебе. Всякое движение поезда в земле — как толчок крови по венам — начинает ворошить этот многослойный грунт над тобой, и вся тяжесть его давит на все еще существующую грудную клетку и опустошенное место в ней, где располагалось сердце.

Мать моя приехала “лимитчицей” на московский АЗЛК, в то время как другие ехали навстречу в ее сибирско-комсомольские края: кто выстраивать БАМ, кто запускать Саяно-Шушенскую ГЭС. Маму поселили в комнатке на двоих, в пятиэтажном общежитии, чуть ли не напротив главных ворот автозавода. Работала она на конвейере, в сборочном цехе, уставала как собака, все мечтала поступить учиться на вечерний факультет какого-нибудь театрального, но как-то не получалось и все откладывалось до следующего года. Потом подоспели Олимпийские игры или подготовка к ним, когда всем азээлковцам пошили парусиновые костюмы — бежевые куртки да синие брюки — и распределили дружинниками по всему городу.

Я упоминал историю своего неблагоприятного зачатия, мать пыталась избавиться от меня, но, видать, была столь молода и неопытна, с одной стороны, и молода да полна здоровья — с другой, что аборт по народным рецептам ей не удался, а, напротив, она кончила тем, что ее забрала “Скорая”, и после анализов ее без сознания прописали на так называемое “сохранение”.

Я того времени не помню, хотя кожа и нутро мое охотно отвечали то судорогой, то дрожью на пьяные рассказы матери о девяти месяцах, когда никто по меньшей мере не подозревал, какую неведому зверюшку она носила внутри себя. Я обижался этим словам, но то была моя мама...

В первые месяцы беременности она уехала в свою Сибирь, к матери, старушке, что приезжала в Москву дважды: однажды за телом моей матери и второй раз за пенсией. Ее присутствия я страшно стеснялся перед своими друзьями, перед соседями, двором. Она была вся какая-то косматая, растрепанная, с прощелками злых глаз — готовая Баба-яга. А ведь это была мама моей мамы...

Там, в Абакане или Тайшете, мама чуть не вышла замуж за своего одноклассника, вздыхавшего по ней до тех пор. Однажды этот странный хакас-одноклассник пригласил ее посреди августовского пекла на местное озеро, позагорать. Они сели в старенький “Москвич”, наподобие тех, что собирала мама, протряслись три часа в дороге, и там у озера — на солнце, целый день — он читал ей вслух книгу под названием “Посторонний” некоего Камю, книгу, что он достал по благу в областной библиотеке. Мать рассказывала, что ее в душном “Москвиче” не только хватил солнечный удар и она потеряла сознание, но и на всю жизнь отбило охоту к

литературе: так муторно и невыносимо было это ощущение солнца и бессмыслицы, дышавшее из этой книги и из этого дня. И хотя мать говорила, что мысль о возможности родить этому простодушному хакасу через 6—7 месяцев негритенка в отместку за этот солнечно-литературный удар — дескать, пережарился ребенок в тот день на озере! — и посетила ее на мгновение, но она пожалела-таки беднягу и сбежала обратно в Москву.

Опять она вернулась на свою станцию “Автозаводская”, с ее тонкими, элегантными мраморными колоннами, напоминающими обнаженные до бедер женские ноги, и фонарями наподобие сучьего вымени (так я запомнил эту станцию в ее раздраженном описании), и на самом выходе из метро, у трансформаторно-образной облицовки в виде перевернутой буквы “Ш” с лишним элементом, она упала без сознания на свои чемоданы...

Станция метро “Павелецкая”-радиальная

Ближе к родам к ней приехала не мать, но отец — армейский полковник в отставке, человек по благородной и древней фамилии Ржевский. Он отдыхал по путевке где-то в Назрани. Поскольку ему пришлось менять маршрут и ехать через Москву, он договорился через коменданта вокзала, что его возьмут на поезд Назрань—Москва сопровождающим охранником вагона-ресторана, где ему выделили бесплатное купе, и через пару дней поезд прибыл на Павелецкий вокзал. Правда, поскольку поезд прибыл поздно, дед мой решил не искать в зимних потемках общежитие своей дочери, а заночевал в вагоне-ресторане, заодно охраняя его.

Глубокой ночью он услышал женский вопль. Поначалу ему показалось, что это снится его рожаящая дочь, но, очухавшись, он понял, что крик о помощи несется откуда-то снаружи. А потому как человек благородный, к тому же военный, он схватил противопожарный багор и распахнул дверь. В узком промежутке между двумя составами на фиолетовом снегу он увидел две темные фигуры: обессиленная и охрипшая женщина издавала звуки, как освежеванная овца. Дед с командирским криком бросился на помощь, но, прежде чем он успел разобраться в диспозиции, бросившаяся навстречу фигура вышибла из его рук багор, и тут же дед ощутил резкий ожог в груди. Падая под вагон, он каким-то чудом сообразил, что здесь подцеплен ломик, которым обходчики проверяют целостность колес, и, судорожно выхватив его, долбанул им по этой черной фигуре. Удар пришелся по голове, и фигура рухнула мешком на снег. Женщина, вся зареванная и избитая, со страхом подползла к деду и, увидев темную лужу вокруг него, стала выть в голос. Через некоторое время понабежали проводники, вызвали милицию и “скорую”, и деда — вместо поездки на “Автозаводскую” — увезли в Склифосовского.

Разумеется, когда моя мама узнала о происшедшем, у ней страшно зашевелилось в животе — так, будто об этом узнал и я. Она путалась: ехать ли ей рожать, или мчаться к отцу в Склифосовского, но ей прежде всего повелели забрать на “Павелецкой” вещи отца с его документами для предъявления в ту же самую клинику Склифосовского, и она поехала на вокзал. Ей в тот раз даже арки колонн на станции казались то кавернами перерезанных ножом легких отца, то широко разведенными ногами роженицы. Впечатление подкрепляли огромные круглые дыры в потолке — для освещения. И это напоминало ей нечто виденное ранее — дурное и множасьее солнце озера и книги. Мама насилу удержала себя в чувствах, нанюхавшись скипидару, чтобы забрать в отделении милиции вокзала огромный чемодан деда с курортным барахлом и добытыми на Кавказе подарками для всей Сибири, но самое главное — его полковничьи документы. Там, чуть не родив, она оставила чемодан в привокзальной камере хранения и вместо Склифосовского поехала срочно на “Новокузнецкую”, где, оказывается, жила та самая спасенная ее отцом женщина по имени Ирина Родионовна Облонская, звонившая ей после всех перипетий и обещавшая любую помощь по части родов, поскольку сама работала

задом главврача в одном из роддомов. Почему мама не поехала к отцу? А потому, что там, внизу, на станции “Павелецкая”-радиальная, при виде тех же раскоряченных ног и огромной дыры псевдосолнца у нее пошли воды...

Станция метро “Новокузнецкая”

Вы ведь помните станцию “Новокузнецкая”? Ту, что отделана под пустой Елисейевский магазин или, скорее, под зал мертвецов в какой-нибудь египетской пирамиде. Мою мать рвало на каждой троподобной скамейке — и от вида фонарей, напоминающих плевательные урны в зубопротезных кабинетах, и особенно от толпящихся и несущихся куда-то с баграми в бесчисленном количестве отцов. От последнего ее рвало все больше и больше. Уже и пакет из-под отставных документов отца переполнился желтой желчью, и скамейки под ней стали мокры, когда к ней, как к пьянице, подошел милиционер и, схватив за подмышки, пытался оттащить вверх. Лишь тогда, когда она опрокинула на него весь пакет своих извержений, сержант милиции понял, с кем имеет дело и, оставив ее на одной из холодных, но сухих скамеек, понесся, свистя, наверх: вызывать ли “скорую”, счищать ли с кителя свой позор.

Телу моему было порядком неловко в обезвоживающемся пространстве, когда все налипало и давало ощущение туго натянутой кожи, и я стал молотить ногами, как кузнечик или маленький кузнец молоточками, обозначая крик о помощи, что ли? Потом, уже после смерти матери, я часто садился в одиночестве в позу плода, скрючившись и перекрестив ноги, чтобы хоть как-то вызвать, вернуть, восстановить те предрожденческие ощущения, растворенные в подсознании теплой и вязкой массой. Это ощущение я оживил лишь однажды, когда семилетним упал в резервуар смолы рядом с новостройкой, откуда меня, к счастью, вытащил некий старик, одетый в белые одежды, которого я, кажется, увидел потом лишь однажды в жизни, хотя и не признал. Но об этом — позже. То было минутное ощущение блаженства от бессилия, когда я просто сжался калачиком и собрался было раствориться в массе, которая ничем не отторгала и ничем не отличалась от меня, но тогда мне не дали умереть...

Мать вынесли на носилках наверх. К этому времени ей полегчало, может быть, от свежего зимнего воздуха или просто из-за того, что я успокоился внутри нее, и она попросила доброхотов позвонить Ирине Родионовне Облонской, что жила неподалеку, на Большой Татарской. Добрые люди позвонили, и та прибежала на станцию в считанные минуты. Гололедица в тот день была так сильна, что Ирина Родионовна решила добираться до роддома, расположенного на “Октябрьской”, на метро, благо ехать всего одну остановку. На тех же носилках, только теперь уже в сопровождении Ирины Родионовны, маму перенесли на оранжевую линию, где станция была чиста, строга и стерильна, как больничная палата, и когда носилки занесли в перепуганный вагон, из которого люди бросились выскакивать, а металлический голос объявил в пустоте свое извечное: “Осторожно, двери закрываются...”, мама и я в присутствии Ирины Родионовны почували вместе, что роды начались...

Станция метро “Октябрьская”-радиальная

Метро должно быть маткой Москвы, чревом, откуда все произрастает. Москва, моя мать, вспоминала тот день в каком-то кошмаре.

“Станция “Октябрьская”, — говорила она, — еще более стерильна, чем “Новокузнецкая””. Акушерская палата, а не станция. Жалко, что МВД рядом, от этого она становится похожей на психушку. Погляди из конца в конец — сам поймешь! Я чуть не разродилась тобой на этой станции. Родовые схватки начались. Представляешь, было бы у тебя в метрике: “Место

рождения — станция "Октябрьская-родильная" (так и говорила: родильная, а не радиальная), отец — невымытый мутатор, мать — Москва!" — и смеялась при этом.

Позже, когда я убежал из школы, я часто ездил на эту станцию, как будто окрашенную на две трети бурыми — от моего цвета — водами матери; я ходил из конца в конец, представляя, что это место могло бы быть местом моего рождения, что именно здесь во время родовых схваток исчез внезапно мой пульс, и когда позже акушерка сказала об этом матери, та возопила: "Нет, только не это!" Так что именно сие место могло бы быть и местом моего мертворождения, иными словами — смерти. Акушерка побежала сообщать докторам, и в пять минут со всех сторон из составов понабежали и хирурги, и сестрички, и санитары с тележками, и Ирина Родионовна скомандовала: "Будем резать!"

Вот здесь, вот у этой пустынной массивной колонны, согбенной под тяжестью несомого груза, мать переложили на каталку и покатали со скоростью ветра, предшествующего гулкому составу, в другой конец зала.

В самом углу — в противоположном конце от эскалаторов, я чувствовал пьяный запах наркоза, которым усыпляли мою мать, и когда люди, высыпавшие из составов, растворялись на эскалаторе, как те сестрички и санитары, я чувствовал огромное, на весь гулкий зал, холодное одиночество мамы, оставленной безжизненным мной. "Режьте быстрее! Режьте быстрее!" — шептали ее медленные губы, как тормозил по железу вновь прибывающий поезд; и вдруг раздавался крик, детский крик, от которого я вздрагивал и озирался по сторонам, ничего не понимая, пока из соседней арки не выходила молодая мама с ревушим ребенком на руках.

"Это была ночь двух смертей, — говорила мне мама. — Сначала я решила, что ты умер во мне, а потом, когда меня стали резать, я решила, что теперь я сама умерла". — "Так, стало быть, и ночь двух рождений!" — пытался по-детски умничать я, на что мама хмыкала и рассказывала один и тот же анекдот: "У русского Иванова родился сын — негр. Иванов сидит в родильном доме, и акушерки не знают, как ему сообщить об этом. Наконец они вызывают сторожа — татарина Рифа, наливают ему стакан спирта и просят поговорить с Ивановым: дескать, вот — чернокожий ребенок, мутация там, гены... Понял? — Че ж не понимать?! И татарин Риф, занюхивая спирт рукавом, идет к Иванову и говорит: "Иванов!" — "Я — Иванов!" — "Дурак ты, ептыть Иванов! Мутаторто мыть надо, вон негр у тебя родился, Геной назвали!"

На самом-то деле я родился в акушерском здании больницы Пирогова, что на Ленинском проспекте. Но это так, к слову...

Станция метро "Шаболовская"

Несколько лет спустя после моего рождения, мама моя возила меня мимо этих злосчастных станций на "Шаболовскую", на хор дошколят, где я был самым заметным — от своей черноты — лицом, поскольку всех нас одевали в белые рубашки. Меня в том хоре ставили ровно посередине, я служил своего рода центром или осью симметрии для остальных, и мне казалось, что в этом-то и состоит моя главная роль в хоре, поскольку голос у меня оказался хрипловатым и толстоватым: "шрамы долгого плача", как говорила мама.

Но я не о хоре, я о станции "Шаболовская", о которой мама говорила: "А здесь я похоронила своего отца..." Нет, он не умер от той ножевой раны, его прооперировали в Склифосовского, поставили быстро на ноги и выписали днем раньше, нежели нас с мамой. Он не мог по своему благородству остановиться в женском общежитии у мамы, Ирина Родионовна жила одна, и при всем уважении к своему спасителю, ни ее, ни его благородство также не могли оставить деда на ночь у нее, а потому Ирина Родионовна устроила его на одну ночь в дешевую гостиницу у "Шаболовской".

Когда нас с мамой выписали из Пироговки, мама вместе с Ириной Родионовной поехала к своему отцу — полковнику в отставке Ржевскому. Дабы не простудить меня на зимнем воздухе, предусмотрительная Ирина Родионовна назначила встречу внутри станции “Шаболовская”, тем более что деду нужно было после встречи ехать на Павелецкий вокзал, забирать свой чемодан, а потом перебираться на Ярославский, откуда вечером отходил его поезд на Абакан или Тайшет.

Там на станции, у витража, напоминающего издалека немецкий железный крест, что носили ээсовцы, дед бросился со слезами на глазах к дочери, но при этом ему прихватило раненый бок, и он, опустив руки, просто попросил показать ему первенца-внука. Когда мама приоткрыла конец толстого покрывала, в которое я был укутан, и повернула к нему мою мордашку, дед внезапно посинел, позеленел, покраснел, как будто бы на его лице поочередно отразились запоздалые цвета витража, и вдруг удушенным горловым голосом, каким поют в Сибири, завизжал на всю пустую станцию: “Шша-лла-а-вва-а-а!” Ирина Родионовна с перепугу завопила в один голос со мной, с ней внезапно приключилась истерика — наверное, страшные воспоминания той ночной попытки изнасилования вцепились всей силой в нее, и это породило ответную реакцию у деда, который, ухватившись одной рукой за бок, другой стал шарить по стене, как бы отыскивая то ли багор, то ли лом, которым хотел прибить свою дочь. “Ты мне больше не дочь! Будь ты проклята! Проститутка!” — визжал он горловым голосом, или это погребовидный зал раздваивал его сибирский визг.

К счастью, подошел поезд, в который бросилась моя окаменевшая мама, а следом за ней — бьющаяся в испуге и истерике Ирина Родионовна и все еще орущий свои проклятия дед, и двери за ними закрылись, оставив на станции кроваво-синее воспоминание.

“Я похоронила здесь своего отца”, — говорила мать, хотя я помнил, что все мы ехали дальше среди пестрого хора — каждого о своем — крика и сплошного метрокаменного черного молчания.

Литера третья

Станция метро “Тургеневская”

Отцы и дети... По мне уж “Безотцовщина и сироты”. До конца света и светопреставления у меня целая темная вечность подумать о своих двенадцати годах жизни. Мне всегда было странно, что во Вселенной значительно больше темноты, а человек цепляется за маленькие точки звездочек, приравнивает малюсенький день к огромной, необъятной ночи, заставляет свет побеждать тьму. Откуда это? Зачем?! Оглянись вокруг, ну нету этой гармонической бинарной симметрии, нету! Одна только равновеликая буква “М” светится своим рубиновым зигзагом в московской темноте надо мной, и та от неоновом удушья то погаснет, то коротко мигнет, то опять, потрескавши, разгорится...

Мама моя — Москва, Мара, Маруся... Как же она из лимитчиц автозавода стала вдруг моделью? Что здесь мысль, а что воспоминание? Помню очень смутной, туманной памятью место с опрятным названием “Чистые пруды”. Самих прудов не помню: один распускающий листья майский бульвар, где иногда играл духовой оркестр да по двум сторонам иногда замедляли свое движение и опускали боковые стекла любопытные машины. И, вопреки этому майскому воздуху со слабеньким солнцем, помню спертую мастерскую в старинном особняке, заваленную рамами, картинами, кусками гипса, чайниками; пахнущую всем: от известки до смолы. Мы приходили туда с мамой с воздуха, и нас встречал бородатый мужчина с постоянной трубкой в зубах и, не высовывая прикушенной трубки изо рта, здоровался с нами, чтобы

усадить меня перед комками разноцветной глины, похожей на залежи пластилина, и увести маму сквозь непонятные переходы “на сеанс”. Я всегда боялся этого слова, которое шепелявил бородач с колючими глазами, но мама повязывала мне фартук, чмокала в лоб и, улыбаясь, как обычно, незаметно плевала на пол, шепнув: “Вернусь пока высохнет!”

Я лепил из разноцветной глины свою растерянность, свою потерянность, потом покинутость, затем страхи, ненависть, ревность, но, как правило, из всего этого получалась или несимметричная темная звездочка, или схематический бесполой человечек, вылепленный без лица.

Но однажды, когда все руки у меня были измазаны той бессмысленной глиной, я услышал не ушами, а пустым и резонирующим нутром некий нервический смех своей матери, и, преодолевая страх своего страха, я сбросил туфли и в своих извечных белых носочках пошел по направлению к этому смеху. За первым же поворотом я наступил на торчащий из рамы гвоздь, который пронзил меня истошной болью, но страх мой оказался больше, и боль растворилась в нем, как кровь впиталась в носок. Дерганый смех становился все ближе и ближе, и когда я осторожно высунул глаза из-за ширмы, то увидел голую мать, стоящую на четвереньках на помосте, и этого проклятого художника с трубкой в зубах, нависшего над ней. Одна рука его лежала на голой заднице мамы, а второй он поправлял ей грудь. При каждом прикосновении она странно хихикала, а этот шепелявил через зубы и трубку: “Щещаш, щещаш... ощущу щещики...”

“Мама, я хочу какать...” — выпалил я невольно, и они оба вскрикнули, причем дважды, поскольку трубка из его вонючего рта выпала прямо на спину маме. За этими криками я забыл, что на самом-то деле мне хотелось блевать и плакать одновременно.

Станция метро “Площадь Ногина”

И все же это было не самым унижительным, что я видел тем московским маем. Станцией дальше располагалась гостиница “Россия”, куда мы поехали вместе с мамой, чтобы получить посылку, переправленную ее матерью из Сибири. Для меня все эти разговоры по телефону о том, куда подъезжать и что представляет собой ящик, который передала бабуля, были чем-то вроде поиска сокровищ, идущего помимо меня, но когда мама взяла меня с собой, то первый же знак после ржаво-аквариумной станции — то ли колокол, то ли купол церкви, вросший в землю памятником сразу же по выходе, — оказался сильно многообещающим и таинственным.

По ветреным улицам, обогнув церквушку, мы подошли к одному из входов в гостиницу, где лакеи в ливреях сажали советское дворянство в советские кареты желтых такси. Мама позвонила из регистратуры кому-то, и через некоторое время к нам спустился вальяжный и мускулистый дядя в офицерских галифе да белой майке поверх тела. Он поцеловал маму трижды, а меня щелкнул по носу и повел обоих наверх к себе. Мы ехали на лифте, потом шли долгими коридорами, в угловом буфете дядя купил бутылку вина и бутылку водки, а еще сладостей, и мы вошли в его комнату. В комнате работал телевизор, хотя никого до нас в ней не было. Надо сказать, что, пока мы шли, мне все казалось, что мой поиск сокровищ продолжается. “А вот и Кремль!” — распахнул портьеры мужчина, — именно так, казалось мне, должны открывать сокровища, — и мама деланно ахнула, как будто никогда его не видела, а я удивился, насколько вид отсюда похож на почтовые открытки.

Здесь он внезапно встал в каратэвскую боевую стойку и стал показывать какие-то движения, имитируя то удар кулаком, то блок, то он плавно разворачивался, а его нога в офицерском яловом сапоге задиралась под самый потолок, и, наконец, вовсе повис в воздухе, а потом со всего лету сел на шпагат! Мама захлопала в ладоши, сказала, что он все такой же спортивный,

каким был и в школе, на что тот встал и раскланялся.

Я огляделся по сторонам. Два кресла были отодвинуты к журнальному столику, на котором лежала копченая рыба, открыты банки солений, развернута колбаса и очищены от скорлупы яйца.

Когда мы ехали сюда, мама обещала, что заберем посылку и тут же поедем дальше, но теперь расспрашивала то о своей матери, то о других, которых они знали сообща, но помимо меня. Он пригласил нас за журнальный столик, мама взяла меня на колени. Он открыл бутылку вина и бутылку водки, налил вина в стакан маме, а себе — водки, и предложил тост за маму и меня. Мама поначалу отказывалась, но он настоял, говоря, что не видел ее столько лет, хотя помнит вот с такого возраста (тут он кивнул в мою сторону), а она все такая же красивая! Мама взяла стакан вина, пряный запах ударил мне в нос, я отвернулся, и они выпили.

Мужчина рассказывал маме о ее матери, об отце — полковнике Ржевском, своем бывшем начальнике, она спрашивала о своих одноклассниках, и речь ее становилась все громче и горячее у моего уха. Мужчина налил еще по одной и предложил посадить меня на кровать. Он склонился к нам, дыша своей водкой и колбасой, и, обхватив меня почему-то вместе с ногами матери, заставил и ее, и самого себя рассмеяться.

Я не ел ничего, ожидая, когда же, наконец, он отдаст нам нашу посылку, мое таинственное сокровище от неизвестной бабушки. Но мужчина продолжал есть и пить, и этому, как ни странно, не сопротивлялась моя мать. Они выпили по третьей, потом мужчина оглянулся на меня и, будто опомнившись, сказал: “А почему этот брюнет ничего не ест?” — на что мама лишь махнула рукой и сквозь смех ответила что-то невнятное, наподобие: “Он прросто у меня такой!” — “У меня для него есть игрушка!” — сказал мужчина и неверными шагами пошел к входной двери, где в шкафу, напротив ванной, стояли чемоданы. Я сидел спиной к нему, и потому лишь слышал, как он ворочает ими, а потом он позвал маму по имени: “Москва, ты мне нне помможжешь?” Мама чмокнула меня мокро в лоб и плетущимися ногами пошла к нему. Грохнул и заскрежетал чемодан, он сказал: “Ссюда, вот здесь...”, хлопнула дверь и щелкнул замок, и почему-то раздался звук воды.

Сердце мое стало колотиться все сильнее и сильнее, кровь ударила в голову, и как ни силился я забить все звуком работающего понапрасну телевизора и шипящей воды, в сознание медленно вползали вязкие причмокивания, слабые поохивания, тяжелое пыхтение, и вдруг мерный и глухой стук, как будто это сердце в растерянности выпало из меня и теперь стучит уже по полу, по стенке, по кафелю ванной...

Я, ни жив и ни мертв, подобрался к запертой двери ванной; все эти звуки шли оттуда, и тогда я изо всего отчаяния, изо всех своих детских сил заколошматил по той двери, вопя: “Ма-ама-а! Ма-а-а-м-а-а!” Дверь открылась. Оттуда ударило запахом тысячи грязных мужских носков, как будто вся ванна была полна ими, потом растрепанная и оплывшая мама высунула голову и пьяно прошептала: “Ну чч-его орешь? Ммы нниккак не мможжем открыть ччемоданн... Дай мне умыться!” Все звуки, кроме прерывисто бьющей струи воды, прекратились, и мама вышла и впрямь умытой, так, что вода замочила ей и блузку, и юбку. Через некоторое время вышел и мужчина, волоча за собой чемодан. Он напрочь забыл об обещанной игрушке, а вручил нам коробку, что передала бабуля, но я уже не помнил, что было в коробке, не помнил, как мы ушли оттуда, из той гостиницы “Россия”, что напротив Московского Кремля... Ничего не помнил... Не хотел помнить...

Станции метро “Кузнецкий Мост” / “Дзержинская”

Нет, нет, я помню, что было в той коробке. Поскольку, как я говорил раньше, сколь бы

низко ты ни спускался в метро, всегда есть ступеньки, ведущие еще ниже. Или как мать моя, с присущей ей сибирской любовью к пословицам да поговоркам, говаривала: упадешь в ложбинку, а выбираешься из ямы. Была суббота, и мы приехали на “Кузнецкий Мост” — станцию, о которой я уже упоминал. Там, посреди банноподобного зала, есть две скамейки, прислоненные толстыми мраморными спинами друг к другу. На этих скамейках мама разрежала своими ножничками клеющую пленку по углам коробки и, отворив ее, достала стопку книг. Под книгами были книги, под теми — еще книги, так до самого дна. Она сложила все это обратно, и мы пошли наверх, как я думал, к тому самому теплому книжному магазину, где мы были зимой с отчимом Глебом. Но на подходе к магазину, занимая всю мостовую, стояла толпа людей, и почти у всех были или толстые портфели в руках, или же огромные сумки наперевес. Многие держали перед собой какие-то листочки, испещренные записями. Мы вошли в толпу вместе с нашей коробкой, и я услышал странный шепот: “У вас есть Фолкнер?” — “Нет, но могу предложить Сартра”. — “А Пикуль?” — “Да, вам что именно?” Каждый или искал, или предлагал нечто непонятное, и только когда один мужчина, озираясь по сторонам, полез в свой портфель и вытащил оттуда толстенную книгу, обернутую в целлофан, я понял, куда мы попали: на птичий базар книг. И тогда я разом осознал, зачем меня привела сюда мама: ровно посередине толпы она поставила нашу коробку, как ставила меня посередине шаболовского хора, и просто-напросто вытащила стопку книг, поставив другой ряд ребром.

Мы стояли недолго, пока к нам не стали подходить любопытствующие. Те, кто были при сумках и портфелях, бросали скользкий взгляд на книги и больше глядели грязными глазами на маму. Те же редкие, с пустыми руками или с целлофановыми пакетами, листали ту или иную книгу, но никто не спрашивал у нас, что сколько стоит. Так прошло некоторое время, и вдруг все люди вокруг нас обернулись обычными прохожими, жмущимися к тротуарам, идущими по своим делам: кто наверх, кто вниз по Кузнецкому Мосту. И только несколько редких человек с пустыми руками, да мы с мамой при нашей коробке остались посреди мостовой, и пока я соображал вслед за мамой, что бы это значило, два милиционера выросли перед нами и, отдав честь присевшей у коробки маме, потребовали ее документы.

У нее при себе не было никаких документов, кроме заводского пропуска, а потому, когда один из милиционеров забрал ее пропуск, хмыкая при этом: “Глядь, ее зовут Москва!” — мама вдруг возопила на всю улицу: “А у тебя у самого есть документы?! А ну-ка покажи, может, ты оборотень какой?!” Тот растерялся, на помощь к нему бросился второй со своим обнаженным удостоверением и ткнул его прямо в лицо моей матери. Мать запричитала пуще прежнего: “А это сын мой, и только посмей его тронуть!” Тут заревел на всю улицу я, не знаю: то ли от страха, то ли от позора, поскольку еще не совсем отрезвевшая мама стала истерично кричать вдогонку: “Да, Москва! Да, представь себе: я — Москва! Злосчастная Москва!” Первый из милиционеров в панике стал вызывать по радиации машину, народ вокруг начал шипеть и гудеть то ли на нас, то ли на милиционеров, кто-то сказал из темной толпы: “Отпусти женщину с ребенком!” — на что милиционер, который размахивал удостоверением, бросил: “А это еще надо проверить. Может быть, украла негритенка!” Тут я заплакал в голос: “Мама, это моя мама!” — и вцепился ей в юбку. Подъехала, светя мигалками, патрульная машина, и когда двое милиционеров взяли маму под руки, я распластался по мостовой и стал реветь, что было сил. Один из подъехавших милиционеров обхватил меня вокруг живота, я вцепился зубами в его рукав, он вскрикнул: “Ах ты, звереныш, ты еще и кусаться!” — и, залепив мне по щеке, схватил так крепко, что я не мог шевельнуться. Мама бросилась ко мне, поднялся гвалт, свистки, улюлюканье, но нас скрутили и втокнули в машину, и она двинулась под те же самые грязные взгляды тех с сумками и портфелями, что уже по новой скучивались позади патрульной машины на мостовой. Нас отвезли в ближайшее отделение милиции, которое оказалось рядом с

“Пирожковой”. Я это помню потому, что после того, как, составив протокол и изъяв наш сибирский подарок, а еще пообещав написать маме на работу, они отпустили ее, на всякий случай боязливо и примирительно спросив: “А вы случайно не работали в административных органах?” — мы первым же делом зашли в эту самую “Пирожковую”, и мама купила на запрятанный в лифчик рубль кучу пирожков с капустой и два стакана какао...

Станции метро “Проспект Маркса” / “Площадь Свердлова”

Иной раз червям надоедает копаться в моем разлагающемся теле и они покидают меня, прорывая за собой тоннели на поверхность земли — отдышаться после дождя. Тогда я чувствую пустотами своего тела пустоты этих каверн, в которых иной раз, как поезд в метро, струится состав воды, а иной раз — просыпающиеся к маю муравьи сыплются, как люди, в переход.

Мы сами шли тем далеким маем слегка наверх в бесконечном червячьем тоннеле перехода между “Проспектом Маркса” и “Площадью Свердлова”, скользя сандалиями по блестящему мамору пола, и я думал, что, если заполнить эту трубу водой или сливом всей Москвы...

В этом ребристом, звено за звеном, переходе, уже отрезвевшая мама остановилась посередине и, не найдя на что присесть, облокотилась о выступающее под полукруглыми звеньями гранитное ребро своего рода фундамента. Пока она примащивалась поудобнее, чтобы перевести дыхание, у нее из рук выпал платочек и расстелился под ногами. Она махнула рукой, как обычно, не в силах нагнаться за ним.

А когда я нагнулся, чтобы подобрать, прямо перед моим носом на него упало два медных пятака... Покуда мама кричала кому-то вслед, другие, решив, что женщина недовольна медяками, стали походя бросать кто десять, кто пятнадцать, кто двадцать копеек. Мама посмотрела на меня, растерянного, и расхохоталась... Я тоже стал смеяться.

Мы не стали брать ни этих денег, ни платочка, а просто незаметно смылись с этого места, как будто нас унесло наверх потоком то ли воды, то ли дерьма, и выбрались, как на сушу, на станцию Свердлова, где, посидев некоторое время в вафельном зале, встали, нырнули под низкую арку, напоминающую мраморную скамейку, и сгнули в поезде, движущемся на север.

Станция метро “Горьковская”

Я меньше всего хочу, чтобы у вас сложилось впечатление о моей маме как о постоянно полупьяной стерве. Совсем нет, и не потому, что она мне мать — годы, прожитые ею в жизни, и число лет, которые я провел на земле и под землей, уже почти уравнили нас, и я хочу сказать, что она была удивительно красивой женщиной. Вы ведь не имеете представления, как выглядит красивая полурусская, полухакаска. Она выглядит намного красивей и выразительней красивой русской, еврейки, француженки, да кого хотите! О ее носике, прямом и тонком, мой первый отчим, Глеб, говорил: “Как у мадонны с горностаем...” Тот, кто сталкивался взглядом с глазами моей матери, никогда не мог забыть этих глаз; их миндалевидная, четко очерченная форма вместе с разлетом тонких бровей на молочном лице делала их неким лазером, который прожигал, приклеивал, цеплял, опустошал. А цвет их — наподобие осенних затонов... Есть два-три портрета, оставшиеся от мамы: один — моему первому отчиму Глебу, второй — Ирине Родионовне, третий — еще кому, но никто так и не повесил эти портреты на стены, так пронизывающе эти глаза, что их стыдливо, под предлогом того, чтобы портрет не запылится, то ли чтобы свет не пожелтил его, кладут глазами вниз, и они, таким образом, до сих пор смотрят вглубь, на меня...

Я часто думаю, что я так не похож на свою маму, хотя иной раз замечаю, как она глядит

сквозь меня, улыбается, морщит лоб, но стоит мне увидеть свое отражение, и я унываю: как она могла считать своим сыном эту самую неведому зверюшку, которую никто не признавал имеющим к ней хоть какое-нибудь родственное отношение, каково ей было иметь баласенком негритенка — такой красивой и необыкновенной?! Наверняка многие считали это придурью, причудой: ну решила красивая женщина усыновить обезьянку, мало ли кого держат дома: кошку, ежа, крокодила... Она не на шутку злилась, когда предполагали такое при ней, помню, однажды у нее из носа выстрелила струйка крови от гнева. Напротив, она обладала мною с такой полнотой, что иногда я чувствовал удушье от ее материнской опеки...

Парадокс заключался в том, что, пытаясь доказать всем мою принадлежность к ней, она и впрямь превращала меня в куклу, домашнее животное, игрушку, которая и поет, и пляшет, и бегаёт лучше всех на коньках, и учит дома с Мариной Борисовной французский язык...

Но я отвлекся. Эти мысли в смутном виде приходили ко мне и тогда, далеким маем, когда мы, приехав на станцию “Горьковская”, стояли у дальней стены, напротив эскалатора, ведущего вниз на “Пушкинскую” (как бы глубоко ты ни опускался на дно, всегда есть бездна, у которой ты стоишь на краю), и я глядел не на эту лестницу, ведущую вниз, а в противоположную сторону, на глухую стену, где на разваливающемся каменном паруснике стоял одинокий Максим Горький. Он был выточен из коричневого камня, а потому цвет его лица напоминал мой, и я радовался этой схожести. Когда-нибудь, думал я, я тоже стану таким высоким и тонким, когда-нибудь и я отпущу волосы до плеч и встану на парусник, когда-нибудь и я...

Но в это время к нам сзади подошел мой отчим — дядя Глеб и, чмокнув нас обоих в щеки, предложил: “Ну что, пошли в загул?!” Поначалу я перепугался, думая, что дядь-Глеб знает все про сегодняшний день, но, поскольку он повел нас наверх, я понял своими детскими мозгами, что он получил сегодня зарплату или гонорар...

Если вы помните, по выходе из горьковской полукаменной кишки на другой стороне улицы Горького за углом стояло модное кафе “Лира”. Дядя Глеб повел нас туда. На нас были предусмотрительно заказаны места у самой стеклянной стены, открытой пейзажем наружу, и я, после немедленного исследования туалета, сел за стол, чтобы созерцать начало Тверского бульвара смеркающимся майским вечером...

Каждому есть что скрывать, — думал я, глядя на вечер, и мама расспрашивала отчима о прошедшем дне, о его успехах. Я ведь и сам до сих пор скрываю, все никак не выдам свой, может быть, самый болезненный секрет, что начиная с детского сада меня обзывали не черным, не черножопым, не мартышкой, не макакой и даже не шоколадиком, а ...Пушкином. Не Пушкиным, а именно Пушкином. Я часто думал об этом человеке, которого то ли ненавидел, то ли любил за все мои муки, вот и теперь он чернел по ту сторону площади, и думал я, насколько он был абиссинцем по прадеду Ибрагиму Ганнибалу, настолько я был русским по своему деду — полковнику Ржевскому, происходившему из древнего рода Ржевских, выдавших когда-то свою дочь за арапа. И если бы, думал я, бог дал мне родиться не здесь, а в Абиссинии, как знать, быть может, и я стал бы их Пушкиным...

Нам принесли куриную лапшу, я отвлекся от разглядывания улицы, но зато перебрал взгляд за соседний столик, за которым сидела пара французов (напрасно, что ли, Марина Борисовна вбивала в меня одну неделю все эти “les muttons et les chevres”, а другую — “des carrots et des beterraves”), улыбавшаяся мне, как могут улыбаться только иностранцы (подозреваю, что и отец мой завоевал мою мать не блузкой и не джинсами, а своей белозубой — на черном лице — улыбкой)...

Мать все мурлыкала с отчимом после бокала грузинского “Саперави”, и пока я копошился в своей тарелке с лапшой, эта пара успела трижды подмигнуть мне. “Il est mignon? Ne c’est pas?” — шептались они фразами, что никогда не могли попасть в классифицированный мир флоры и

фауны Марины Борисовны, но по тону я улавливал нечто приятное и теплое.

На второе принесли котлеты по-киевски, мне и отчиму, и татарское азу — маме. Отчим возбужденно рассказывал о сценах свего следующего романа, замешенного на трагической любви писателя и проститутки, мама довольствовалась тем, на что ее создал бог: быть красивой женщиной, которую любят и которая любит себя сама; она рассеянно слушала отчима и наслаждалась своим “Саперави”. Французы продолжали улыбаться мне. В какое-то мгновение мама почувствовала, что я гуляю взглядом по посторонним и обернулась на мгновение, чуть не сбив сумку, висящую на спинке стула, куда она успела уже сложить то ли получку, то ли гонорар отчима. Увидев приличную пару, она обернулась с еще непогасшей улыбкой, на которую уже рассердился отчим. Он тоже бросил недовольный взгляд за спину, но через минуту перешел к описанию финальной сцены...

Когда мы закончили ужин, этой замечательной французской парочки уже не было. Но не было и сумочки, висевшей давеча на спинке ее стула, а вместе с сумкой и всей косметики, полочки с гонораром отчима, ее пропуска на автозавод... Мама плакала, топала ногами, кричала на меня, дескать, я навлек этих воров, отчим яростно матерился, официанты стали звонить в милицию, через некоторое время, разрезая темноту синими мигалками, примчалась патрульно-постовая машина, и двое милиционеров, вошедших из темноты в вестибюль кафе, увидели зареванную маму со мной и отчимом и чуть ли не хором воскликнули: “Москва! Опять ты?!”

Моей детской пушкинской силы не хватит, чтобы описать, что было тем вечером и той ночью у отчима дома, но я об этом непременно расскажу, когда наберусь горьких сил...

Литера четвертая

Станция метро “Октябрьское Поле”

Когда твое тело похоронено в землю, уже не различить, где ты лежишь: в Серебряном Бору, на Лосиноостровской или в Битцевском парке. Все расстояния становятся равноудаленными — на дистанцию вечности...

К осени в универсаме на “Октябрьском Поле” начинали торговать болгарским “Гювечем” и пакетами мороженых лесных ягод. И поскольку станции, о которых речь, так похожи одна на одну, как наполовину сбитые ящики, поставленные на попа и упирающиеся пустой гранью в землю, расскажу о том, что их окружает.

Мы жили той осенью на Маршала Жукова, недалеко от Хорошевки и Мневников. Мама снимала однокомнатную квартиру в ведомственном доме Министерства связи, я ходил в ведомственный детский сад Министерства связи, хотя никакой связи никто из нас с ним не имел. Просто мой первый отчим дядя Глеб, от которого мы съехали, но связи не потеряли, сделал письмо от журнала “Дружба народов”, где его привечали, и меня, как живое воплощение этой самой дружбы и любви народов, приняли в тот детский сад, что располагался в глубине двора.

Дом наш — девятиэтажка, стоял на самом проспекте, прямо напротив почтового отделения (так, кстати, и называлась наша троллейбусная остановка), но если идти не в ту сторону, где висел огромный плакат, прочитываемый мной в голос как “Кучерненко”, а вглубь, в сторону детского сада, то за парой таких же домов и тройкой “хрущобок” начиналась березовая роща, в которой мы гуляли с мамой после садика. Там же, в продуктивном магазине, она покупала пакетное, а еще можайское топленое молоко, которое заставляла меня пить на ночь. Я отказывался как мог, и не потому, что вкус его был неприятен, — напротив, оно напоминало

вкус сгущенки, от коей меня остерегала под страхом свинки мама, нет, не из-за вкуса, а из-за... цвета. Мне казалось, что когда говорят о чьем-то лице: кровь с молоком, то от можайского молока мое лицо уж никак не становится белее...

Позже, когда с улицы исчез огромный плакат “Кучерненко”, а написали, как для водителей, — “Ускорение”, в том же продуктовом магазине стали продавать по талонам водку, и кончилась моя эпоха можайского молока, поскольку к осажденному толпами магазинчику теперь невозможно было подобраться, но именно там, напротив этого магазинчика с водочным отделом, я однажды увидел картину, которую запомнил на всю свою жизнь.

Было семь часов октябрьского морозного утра, когда уже выпал первый снег, и мама вела меня спозаранку к учительнице пения, что жила за березовой рощей. И вот когда мы подошли к продуктовому магазину, вокруг которого уже начиналась осада, навстречу нам прошла троица людей: две женщины и один мужчина. Женщины были русскими, по всей видимости, мать и дочь, а посреди них, под ручку с обеими, шел негр. И не то было странно, что между двух этих подвыпивших с самого утра или не просохших за ночь женщин шел негр; а то, что глаза его, огромные лиловые глаза, были так же пусты и бессмысленны, как у них, они были пусты этим серым утром, этой бессмысленной толпой, этой никчемной дорогой из ниоткуда в никуда, пусты этой разминкой с нами: мало ли что встречается на пути...

Мама моя была занята скользкой дорогой, а потому или не заметила их, или сделала вид, что не заметила. Но меня этот образ негра, ставшего еще более русским, нежели сами русские, поразил до самого голого дна души, как будто мое будущее прошло утренним призраком передо мной...

А хотелось рассказать про Октябрьское Поле...

Станция метро “Полежаевская”

Пьяный отчим гонялся той ночью с ножом за моей мамой, а я вцеплялся ему в ноги и визжал — не то от страха, не то от ненависти. Или просто просил его пожалеть нас. Мама заперлась в ванной. Отчим лупил ножом по двери, пока не отлетел кончик ножа, понаоставивший птички-галочки по дереву и краске на долгие времена, а я, охрипший, боялся пробежать за его спиной на лестничную клетку, чтобы позвать соседей. Отчим сквернословил, мать что-то кричала ему из крошечной ванной в ответ, и я молил бога, чтобы она замолчала, чтобы не злила его. Другой моей мыслью было выйти на балкон и кричать соседям оттуда, но кто откликается на балкон? Может быть, привязать простыню к балкону и попытаться спуститься на нижний этаж? А если там никого не окажется в такой октябрьский мороз? Может быть, просто выбежать на балкон и выброситься? Но кто это заметит? Пьяный отчим, который готов убить маму, или мама, запертая в ванной? А потом, как быть, если он вышибет двери ванной?!

Отчаянию моему не было конца, и все, о чем я мечтал, — это какой-нибудь запоздалый и трезвый сосед: то ли только вернулся со смены, то ли вышел покурить... Но кто из соседей когда был трезв?! Разве что в булочную под нами завезут ночной теплый хлеб на утреннюю торговлю? Но это под самое утро... Сколько еще ждать до того? “Нам бы только ночь простоять да день продержаться...”

Когда все это кончится?! Отчим рычит и колошматит в дверь, потом хватается за ручку и что есть сил дергает, дергает, дергает ее, и она отрывается вместе с ним, отбрасывая его на вешалку и оставляя после себя дырку в двери. Вешалка трещит, пальто и шапки засыпают матерщину и визг отчима, он разбрасывает их во все стороны, теперь уж точно не пробежать к двери, и с ножом бросается опять к ванной, чтобы вонзить теперь огрызок своего ножа в эту дырку, как будто он пыряет мою маму под дых... Нож с невыносимым скрежетом застревает

среди дерева и шурупов, отчим дергает его обратно и вдруг с воплем бросается назад: из руки его бьет струя крови. Я от страха кидаюсь к нему с визгом: “Ма-а-ма-а!” — он трясет рукой, и брызги крови разлетаются вокруг, попадают мне на лицо, струйка ударяется о мои губы, и я против воли чувствую на языке горько-солончатый чужой вкус... Отчим бросается на кухню, и только тут я понимаю, что не мама, а он порезался о нож, торчащий вместо ручки, и от моего истошного вопля, распахнув дверь, выскакивает мама, хватая меня, всего в крови, и, спотыкаясь о кровавые пальто и шапки, с криком: “Помогите!” — распахивает входную дверь настежь, и, босая, выбегает на лестничную площадку — мимо железного лифта, и вниз, вниз, стуча во все двери...

Станция метро “Беговая”

Через эти станции — посмотришь в сторону неба на потолок, кажется, что бежишь по бесконечной ребристой лестнице вниз головой: тк-тк, тк-тк, тк-тк... А в глазах какие-то скачущие жеребцы с черными всадниками на спинах, мужики с лампочками в головах, бьющие в колокол, посторонние с дырявыми сердцами, наподобие пушкинских рисунков, или это промельк барельефа на “Беговой”? Название-то какое — наших ночных побегов от пьяного отчима — писателя, что вдруг на следующее утро оборачивался интеллигентным человеком, которому мама оттирала перед работой твидовый пиджак от следов то блевотины, то запекшейся крови...

Он доезжал до какой-нибудь “Беговой” и внезапно возвращался назад, пока мама не успела отвести меня, невыспавшегося и капризного, в сад. Он становился в дверях на колени, как правило с букетом недорогих, а то и нарванных цветов, умоляя маму простить его и вернуться на Левобережную, потом вдруг хватал меня, одетого к саду, и объявлял: “Мы едем в Серебряный Бор!” Радиоточка на кухне начинала играть бравурную перестроечную музыку, и отчим, пахнувший сквозь густой “Шипр” еще и вчерашним перегаром, распахивал железную дверь нашего допотопного лифта, как будто бы приглашая в лимузин.

Внизу, чуть отойдя от дома, мы садились на 21-й троллейбус и ехали до самого конечного кольца, наблюдая, как над Москвой встает нам в спину позднее октябрьское солнце, как на глазах тает иней и лед луж и осень опять обретает мягкий и жалостливый вид.

После того места, где проспект Жукова смыкается с Хорошевкой, мы двигались по мосту через канал, втекающий неподалеку в петляющую Москву-реку, и я на мгновение озирался налево, сумею ли захватить зрелище далекого-далекого университета, что был всегда образом какой-то пока еще неизвестной мне, книжной, несуществующей, необъявленной Москвы. Мы приезжали на песчаное кольцо 21-го троллейбуса, спешивались, шли по уже разогревающейся земле, где новые саженцы были окружены маленькими охранительными решетками. Местами на этой пружинящей от высохшего многотравья земле могла выставить подножку неожиданная кочка, а местами — нога могла провалиться в лунку, оставшуюся под травой от пересаженного саженца или звериной норки.

А потом начинался сам сосновый бор, сначала сквозь таинственные заборы генеральских дач, а потом сам по себе, в окружении ветра, воды и неба. Я прыгал, скакал по песку, лепил какие-то рассыпающиеся фигурки, а у темной воды опять глядел налево, туда, где вниз по течению маленьким значком, прицепленным двумя концами к далекой земле и далекому небу, мерцал университет на Ленинских горах...

— Москва! Москва! — кричал я, на что всегда, хохоча, откликалась мама и бежала, чтобы раскрутить меня по воздуху, как карусель крутит своих лошадок, как ветер кружит свою листву, как водоворот затягивает в себя осенний поток...

А больше всего мне нравились огромные непролазные кусты боярышника или шиповника на маленьких островках, когда мы брали лодку в прокат и гребли по осенним затонам в сторону этих безлюдных солнечных полей, где мама была спокойна и счастлива...

Иной раз дядя Глеб вез нас в обратном направлении на 20-м троллейбусе на ту же станцию — “Беговая”. Здесь мы проходили к электричке, идущей с Белорусского вокзала на Можайск, и эта электричка увозила нас через Голицыно аж до станции Тучково, отстоящей от нашей Москвы чуть ли не на два часа, а там нас встречал на привокзальной площади набитый автобус и вез нас сквозь деревню, поля, леса, через овраги, балки и реки посередине в Малеевку, в Дом писателей, где все знали дядю Глеба, а потом узнали и нас с мамой.

Там, в особняке, где сестра-хозяйка встречала всех новобранцев рассказами о “немце, который квартировался здесь во время последней войны”, нам выделяли комнату с дополнительной раскладушкой для меня, и сразу после роскошного обеда с запеченной “картошкой по-малеевски” мы поднимались с отчимом на второй этаж в биллиардную, где он учил меня, как намелованным кием укладывать шары в лузу, непременно “с хрустом”. “А вот этот шарик уговаривается вот так”, — говорил он скорее сам с собой и медленно закручивал шар в неудобный угол, дожидаясь партнера — какого-нибудь провинциального Героя Соцтруда, чтобы выместить на том все свои столичные претензии и комплексы. Потом, в петушином состоянии духа, он начинал посвистывать и шел в комнату, стучать по своей немецкой машинке желтого цвета, а мы с мамой шли гулять.

Ах, эти малеевские октябрьские прогулки! Пойдешь налево, внизу за садом и за мосточками выходишь на опушку леса с огромным полем сбоку, и стоит пойти вдоль этого поля, как через десять минут теряется всякое ощущение сторон света, и ты можешь провести часы и часы плутая, пока случайно не наткнешься на кого-нибудь из местных, и он или она на твой вопрос о Доме творчества поведет тебя в сторону, ровно противоположную той, что ты думал, и через полчаса выведет на те же мосточки, те же водопадики, тот же заброшенный сад и ту же тыльную, непраздничную сторону особняка со светящимися уже на ночь окнами...

Пойдешь наверх, обогнув справа рощицу с коттеджами, а слева — овраг, и выйдешь на прямую полевую дорогу, ведущую мимо долгого, большей частью мерзлого озера к деревне, что, быть может, в километре от Дома писателей. Это оттуда все обслуживающие бабушки и тетушки бегут спозаранку и туда уходят затемно гуськом. Иной раз проедет случайная машина, отеснив тебя к озеру или к корням снегозаградительной полосы деревьев с противоположной стороны, а так — идешь, стуча сапогами по мерзлой земле, и нет этим шагам конца. В деревне есть бедненький магазинчик, и, как всегда, кажется, что именно в нем можно найти то, чего нет в московских универсамах: и впрямь, мама купит то банку соленого арбуза, то тыквенные семечки, то еще какую диковинку, что и даром не нужна этой деревне...

Зато пойдешь направо, мимо коттеджей, мимо нового корпуса, мимо гаража, где все время чинят один и тот же автобус, и сразу за этим гаражом входишь в лес. “Дремученный” — как я его называю. Правда, тропки поначалу обозначены номерами, дескать, до конца этой пробежки двести метров, а до конца той — все четыреста. Дальше они путаются, но так или иначе ноги выводят тебя на мшистую поляну, за ней открывается овраг, на дне которого по-преддизимному томно жалится ручеек. Травы пожухли и пообносились по его берегам, теперь они торчат неказисто, просто обозначая ручей, а стоит спуститься к нему, в тебя уставляются оброненные глазоподобные листья, глядящие на тебя то из сухолома, то с какого-нибудь длинного, но еще зеленого стебля. Перемахнешь через ручей, и безымянная тропинка поведет тебя резко наверх, на другой берег леса. Здесь он более дикий и густой. Если знаешь дорогу, то минут через двадцать можно выйти к сосновому бору с мягким, сухим, игольчатым настилом. Идешь себе вприпрыжку, спотыкаясь или оскользясь то и дело на корневищах, и через некоторое время

замечаешь тутошнюю школу. А от нее уже рукой подать до дороги, по которой автобус привез нас со станции Тучково, и до той самой знаменитой лощины, где располагается Старая Руза и где широко разливается Москва-река. В этой лощине, на ее берегу, есть книжный магазин, куда по субботам специально ездит автобус с писателями, а мы своими неведомыми тропами можем оказаться здесь в любой день...

Станция метро “Улица 1905 года”

Мчишься по этим ребристым лестницам потолка вниз головой, и только скорость безрассудства удерживает тебя в том беге со станции на станцию, но стоит на мгновение задуматься, как слетишь колом и головой об рельсы...

Мы сидели с мамой в пельменной, что сразу по выходе из круглой башни 1905 года, только перейти дорогу, когда, опоздав на полчаса, вошел дядя Глеб и, завидев нас, без улыбки и без приветствий направился прямо в мамину сторону. Мы почти уже доели свои пельмени с двойной сметаной и держали бульон в тарелках, чтобы нас не согнали с мест до прихода отчима. Но, вместо того чтобы сесть с нами, заказать двойную порцию пельменей с бутылкой пива, он обнял маму за плечи и что-то зашептал на ухо.

Вдруг лицо мамы стало такого же цвета, как густосметанный бульон в тарелке, губы сжались, и она окаменела. Этого состояния мамы я боялся больше всего: уж лучше пусть наорет, пусть отшлепает или отстегает ремнем, пусть поставит в угол голыми коленками на крупнозернистую соль, но только не эта закаменелость на долгие часы. Как сфинкс — ни слова, ни чувства, и если даже движется, то это как движутся горы — стоя на месте...

Я всегда с ужасом вспоминал ту самую хакасскую сказку о замкнутой за матерью горе и со страхом молил, чтобы подобного не случилось сейчас. Отчим постоял при ней, потом обогнул стол и шепнул мне: “Твой дедушка умер...”

Я не знал, что делать. Что люди делают, когда у них умирают дедушки? Плачут? Ревут? Кричат? Я растерянно глядел на маму, думая, а что делают люди, у которых умирают отцы, но лицо мамы оставалось каменным, если не считать мелко-мелко подрагивающих губ. Отчим обнял меня, и тогда я заплакал. Это была первая смерть в моей жизни, смерть человека, которого я не помнил, но видел, как сказано было, всего раз, человека, что хотя и отрекся от меня, но имел ко мне самое непосредственное отношение, составляя русскую четверть моей мешанной крови. Я плакал этой четвертью, жалея не столько умершего, сколько самого себя, осиротевшего на четверть, быть может, на свою лучшую четверть...

Отчим гладил меня по спине, а мама сидела все та же, каменная, уставившаяся в одну точку, как будто желая просверлить взглядом гору, что замкнулась за ней. Время остановилось, остановился бег по ребристым ступенькам потолка подземных станций, похожих одна на другую.

Никуда не нужно было бежать, ничего не было столь обязательным, чтобы тшиться и силиться его исполнить, мама сидела каменной. И именно поэтому стало по-непривычному страшно. Вся жизнь построена по принципу, что тебя всегда что-то отвлекает: то мама ведет в садик, то в садике надо бегать и прыгать, потом кушать, потом спать с закрытыми глазами, потом ждать маму, потом идти домой, потом кушать, петь, на горшок и спать...

Но когда мама окаменеваает, и нет на свете ничего внешнего, что заставляет тебя быть тем, кем это внешнее хочет, и ты оказываешься один на один с собой, вне требований и обязанностей, в душевной невесомости, ненужности, никчемности... Что делать тогда?..

Мама каменела, и я безуспешно раз за разом привязывал себя к ее окаменелости, боясь того, что если и я оскользнусь, как жеребец, привязанный к камню, соскальзывает от своей

гарцующей нетерпеливости в овраг, то никакие из этих моих детских мыслей, в которых я барахтался, мне уже не помогут и меня занесет безразличным потоком, коему нет ни начала, ни конца.

Кто может вынести самого себя, когда делать нечего дольше, чем пять минут?

Станции метро “Баррикадная” / “Краснопресненская”

Я помню, как мама окаменела еще однажды, когда в моем ведомственном детском саду Дашкин брат, Гошка, толкнул меня со всего размаху, пока я разговаривал с Дашкой, и я упал плашмя на бетон нашей игровой площадки, и в глазах у меня потемнело, и когда я очнулся, наша воспитательница Валентина Федоровна махала надо мной мокрым вафельным полотенцем, и я уже лежал на кровати.

Тогда мама вошла именно с таким лицом: она ничего не сказала ни воспитательнице, ни ночной сторожихе — бабке Марфе, что гнала всех одной и той же фразой: “Иди отседова!” — мама просто приблизилась с каменным лицом, цвета того вафельного полотенца, которым мне вытирали лоб, взяла меня на руки и понесла, не проронив ни слова ни им, ни мне.

У подъезда ждала уже “скорая помощь”, мы не стали входить в дом, а сразу в “скорую”, и та повезла нас с сиренами в сторону “Беговой”, а потом направо, мимо Ваганьковского кладбища, в сторону “Баррикадной”. Где-то по пути она свернула еще раз направо, и я потерял кошачье ощущение направления. “Скорая”, поплутав по переулкам, привезла нас в больницу, где, измерив мне температуру в приемной, сразу же покатали на тележке на пятый этаж. Маму на этаж не пустили, и она осталась у двери отделения с каменным лицом, но на нем теперь уже проступили две капли влаги...

Меня повезли на той же тележке в палату, переодели в больничную пижаму, и я вдруг перепугался еще пуще своего досюдошнего любопытства. Я перепугался сразу от нескольких вещей: во-первых, в той общей пижаме я потерял ощущение самого себя. Во-вторых, я испугался операции, по своей ранней образованности я уже знал выражения наподобие “трепанации черепа”, хотя не понимал, что это значит. Сейчас я боялся той самой трепанации черепа, который мне уже не принадлежал. В-третьих, я испугался своего одиночества: если не пустили сюда маму (а ее пускали повсюду, где бы ни оказывался я), то неужели я один на все отделение, и неужто сейчас надо мной станут ставить зверские опыты?! В-четвертых, я испугался того, что так много было чего пугаться...

Но когда вместо немедленной операции сестричка поставила мне капельницу, отмеривающую время по каплям, я ощутил, что у меня есть возможность успокоиться и пораскинуть мозгами. Капля медленно сползала по трубке, следом не спешила другая. Время сидело верхом на этих каплях. У меня слегка кружилась голова и немного подташнивало.

“Может, его к тем, двоим?” — шептались сестрички у огромных дверей в палату, и я наполовину обрадовался, узнав, что здесь есть некто помимо меня, и в то же время привычно испугался: “А почему они об этом шепчутся? И что эти за двое? Люди? Звери? Дети, чудовища, пришельцы?” Все было как в дурном, кошмарно-сказочном сне...

Не переборов ни своих мыслей, ни своего страха, я очень скоро уснул.

Когда я проснулся наутро, ночь, оставленная позади, как будто тарасила свои полуприкрытые глаза из-за двери. Помню какие-то смутные сполохи сестричек, сующих таблетки под язык, переворачивающих сквозь мертвецкий сон на живот — для укола... Позднее осеннее солнце светило в окно пятого этажа, и старые стекла разбивали по стене лучи на зайчики и радуги.

То, что мне показалось ночью, тарасящей свои заспанные глаза, оказалось двумя пацанами

чуть старше меня, они стояли, шушукаясь у дверей, затем один из них командирским голосом спросил: “Ты русский?” Я кивнул в ответ. Тогда он объявил: “Сейчас будут раздавать завтрак!” Дальние двери и впрямь заскрипели, и двое мальчишек бросились со всех ног в палаты. По хлопнувшей двери было ясно, что они лежат напротив.

В первый день я узнал их имена, на второй, когда мне разрешили вставать и самому ходить в туалет, я заглянул в их палату, им было куда веселее, чем мне одному. На третий день, точнее, вечер, после того как сестричка принесла мне посылку из фруктов и сладостей и попросила подойти к окну, чтобы помахать маме, стоявшей внизу под нашим рядом окон (хотя я, разумеется, ничего не видел в темное окно, кроме собственного темного и испуганного отражения), я, дождавшись ухода сестрички, пошел к Козьме и Димитрию со своими подношениями.

Они приняли фрукты и сладости, затем заперли дверь изнутри, заложив в ручки швабру из угла, поставили напротив одной из кроватей стул (я думал, что сейчас все мы — три богатыря: Добрыня Никитич, Илья Муромец и Алеша Попович, три мушкетера: Атос, Портос и Арамис — начнем пировать, дескать “пора, пора, порадуемся на своем веку!”) и приказали мне сесть на стул. Когда я сел на стул, Козьма набросил на меня сзади свою больничную пижаму, и не успел я опомниться, как оказался накрепко привязанным ее рукавами к стулу. Я не мог шевельнуться — если б я это сделал, то стул опрокинулся бы и я вмазался бы своей нездоровой головой или в ребро железной кровати, или в крупноплиточный пол.

“Мы начинаем над тобой суд Линча!” — сказал Димитрий. Я не знал, что такое суд Линча, а потому перепугался еще больше. “Имя?” — спросил Козьма. Я не понял и повернул голову в его сторону. “Я спрашиваю твое имя?” — повторил ледяным голосом Козьма. “Кирилл”, — промямлил я. “Громче и повнятней!” — громко и внятно произнес с другой стороны Димитрий. Я ответил громко и внятно: “Кирилл”, но голос мой по-предательски дрожал, и дыхание прыгало в легких. “Я спрашиваю настоящее имя!” — продолжал требовать Козьма. “Мбобо”, — ответил я не задерживаясь. “Возраст?” Я назвал год рождения. “Возраст означает сколько лет”, — методично правил меня Козьма. Я ответил, чуть не плача.

Больше всего меня пугало то, зачем они спрашивают это. Ведь я не знал ни цели, ни значения, ни последствий идущего допроса. “Адрес?” — перебив порядок, спросил почему-то Козьма. Может быть, он главнее, может быть, мне надо обращаться с ответами к нему, может быть, он пожалостливей?

“Адрес, я сказал!” — хлестким голосом отрезвил меня Козьма. Я выдавил из себя наш адрес на проспекте Маршала Жукова. И тут же заледенел: а что если мама узнает, ведь она строго-настрого запрещает называть адрес кому бы то ни было, даже милиционерам...

“Родители?” — бесстрастно продолжил Димитрий. Я расплакался. Трудно плакать без рук, ведь руками оттирают слезы, а здесь они текли по моему лицу и под ворот.

“Обдать водой...” — то ли спросил, то ли приказал Димитрий, и один из них плеснул в меня стаканом воды. Я захлебнулся то ли слезами, то ли воздухом, то ли водой и стал кашлять. Я кашлял безостановочно, задыхаясь, пока от бессилия и отчаяния меня не вывернуло на самого себя. Белая пена рисовой каши с яблочными вкраплениями потекла и по пижаме Козьмы, обернутой вокруг меня, и тут он произнес фразу, от которой я оцепенел: “Аха, порча социалистического имущества!”

Развяжи они мне руки, я был готов вылизать свою рвоту, я был готов выстирать пижаму, но они решили продолжать. “Когда русские разбили шведов?” Слезы почему-то не останавливались, но я был так благодарен судьям Линча, что они не стали возвращаться к предыдущему вопросу, что поторопился уточнить: “В хоккее или по-настоящему?” — “В ледовом побоище”, — великодушно ответил Козьма, но Димитрий впервые перебил его: “То

были тевтоны”. Если б он не сказал этого, то, видит бог, я бы переспросил еще раз: “В хоккее или по-настоящему?” — поскольку “ледовое побоище” не уточнило вопроса. Тут Козьма обернулся к Димитрию и вдруг тем же самым ледяным голосом произнес: “Ты всегда все путаешь!” — “Не при подсудимом...” — попытался было урезонить его Димитрий. “Пусть слушает!” — отрезал Козьма. “Пусть тогда лучше выстирает пижаму, а завтра продолжим”, — примирительно предложил Димитрий, и тогда Козьма победно объявил: “Суд Линча откладывается до завтра. Подсудимого приговорить к приведению социалистического имущества в надлежащий порядок и завтра явиться с повинной в зал суда. Есть вопросы?” — Я замотал головой. Козьма брезгливо развязал рукава своей пижамы за моей спиной, а Димитрий пошел высовывать швабру из дверных ручек. Я был на унижительной, но свободе, и то ли от холодной воды из крана, под которым я отстирывал свою липкую рвоту, то ли от долгого страха, но ночью у меня резко поднялась температура, и весь следующий день я опять пролежал под капельницей в присутствии сестры, взирая на медленно и живительно застывшее время...

Станция метро “Белорусская”

Я пытался понять, каково будет деду в земле, когда его принесли мертвого, вымытого и облитого одеколоном в гробу на мерзлое сибирское кладбище, где могильщик сбил руки в кровь, колупая киркой и ломом сначала заледеневший наст, потом комья мерзлой и крошащейся земли, пока, наконец, не добрался до затвердевшей от холода глины.

В автобусе ехало человек двадцать — большей частью ветеранов. Суется от важности происходящего, они стали вытаскивать гроб сначала не тем концом, начав его разворачивать зачем-то прямо в автобусе, да так, что тело стукнуло изнутри по гробу и чуть не выпало. но кое-как гроб все-таки вытащили наружу и поставили на насыпь из комьев мерзлой земли и наледи, отчего гроб начал соскальзывать, но его удержали, и тогда могильщик, стоявший в пустой могиле, велел подать конец гроба на себя. Несколько младших офицеров местного военкомата ухватились за края гроба и в последний раз ощутили ненарочный вес безжизненного тела в нем, другие проделали под гроб веревки и стали натягивать их, чтобы гроб не соскользнул и не придавил могильщика. Наконец, еще раз стукнув мертвым телом, гроб оказался там, где ему надлежало быть. Могильщик кое-как выбрался из ямы и первым бросил в нее ком земли. И тогда остальные стали подходить к насыпи и неловко бросать кто комок земли, глины или кусок льдышки — что попадет под руку. Чуть обождав, могильщик взял лопату и стал засыпать яму крупняком. К нему на подхват двинулись те, кто более всего томился нелепостью своего присутствия, — все те же младшие офицеры, снятые с дежурства. Яма заполнилась, насыпь из комьев глины, наледи и наста сложилась в горку, которую притопали, несколько человек сказали разные слова, остальные послушали, потом наступило молчание, и люди, как бы специально замедляя свои шаги, пошли обратно к автобусу.

А могильщик остался приглаживать могилу. Но как только автобус выехал с кладбища, он, наверное, взял свой шанцевый инструмент и пошел складывать его в сарайчик, чтобы после этого пойти домой на обед...

И дед — полковник Ржевский — остался в земле один.

Неделю спустя, вернувшись из Сибири, мы шли по “Белорусской”-кольцевой к “Белорусской”-радиальной, и я представлял себя попеременно то толпой, возвращающейся с кладбища, то, глядя на дядю Глеба, — могильщиком, несущим свой инструмент в сарай, то, когда мой взгляд падал на каменное лицо мамы, — дедом, оставленным навсегда в той холодной сибирской земле.

Что должен был чувствовать он, освободившийся ото всех, но и оставленный всеми? Тот,

который назвал свою первую дочь самым дорогим для себя именем — Москва, но избивал ее в детстве так, что она, бедная, описывалась от страха, отчаянья и бессилья. Тот, кто безгранично верил в свою власть надо всеми своими детьми, кто проклял дочь, родившую ему первенца-внука. Что мог чувствовать в мерзлой и одинокой земле он, гнобивший своих близких и не имевший друзей, проживший по принципам и не веровавший в Бога?!

Позади нас оставалась некая каменная семейка белорусов, среди коей возвышалась одна, похожая на мою маму, но я старался не оглядываться на них и уставился себе под ноги, на мелкоплиточную мозаику белорусских узоров — рубашку с такими узорами носил в молодости дед, — я видел это на фотографии, которую мама прятала в книжке некоего Г.Мало под названием “Без семьи”.

Должно быть, даже эта каменная семейка — и та счастливее нашей, частью живой, а частью уже мертвой, — думал я, двигаясь к переходу, и уже на радиальной, с ее шахматными полями на полу, суеверно стал прыгать с белой клетки на белую, с белой на белую, боясь, что если наступлю на черную, то...

Станция метро “Речной вокзал”

Мы ехали по зеленой линии, станция за станцией — до самого конца, до “Речного вокзала”, и у меня было вдоволь времени, чтобы понять, почему мама опять возвращается вместе со мной к отчиму на Левобережную. На ту самую Левобережную, где при всей ее природной красоте в заброшенных яблоневых садах шастают педофилы, а чуть подалее, слева от книжного магазина, в зарешеченное окошко психдиспансера выглядывают, ковыряя в носках, дебилы, обмазанные манной кашей.

В черно-белой последовательности тоннелей и станций, замечаемой мной как некое продолжение той самой шахматной доски, я думал о том, что и у мамы моей есть своя мама (об этой последовательности я — трехлетка — сказал однажды: “Вот какой паровоз получается!”), правда, я ее до сих пор не видел, но знал, что моя мама считала ее корнем всех проблем не только с отцом, сестрой и братом, но и с ее мужьями, включая нынешнего — дядю Глеба.

При том что дед проклял мою мать, мама моя зла на него не держала, зато бабулю она считала истинным кукловодом, накручивавшим всю жизнь деда против своих детей. Недели две назад я подслушал телефонный разговор мамы с бабулей и знал, что дед лежит дома в полукомадном состоянии. “Ну, наконец-то ты его заполучила полностью в свои руки! — сказала тогда мама. — Теперь ты вольна делать с ним что тебе вздумается. И безо всякого сопротивления!” Я догадывался, что бабуля плачет в трубку и осыпает маму проклятиями. “Самое главное — не слушай теперь никаких врачей, а следуй своим священным знаниям, почерпнутым

из газет! — не унималась мама, срываясь в истерику. — Ты ведь знаешь все лучше всех, обо всем ты читала в своих паршивых газетах! Сломала всем жизнь, рассорила нас между собой, зато теперь останешься одна-одинешенька, как паук, запутавшийся в своих сетях... — мама уже плакала, но никак не могла остановиться. — Теперь захочешь — напоишь его самогоном, захочешь — уморишь голодом, захочешь — вымоешь тройным одеколоном, не захочешь — изваляешь в собственном дерьме! Дерзай, мать!”

Два плача шли по тысячекилометровым проводам друг навстречу другу и как два состава метро на открытом подземном участке с грохотом проносились один мимо другого. Я смотрел на свое темное отражение в темном стекле, и только две звездочки слез остро блестели в темноте, и в нее же срывались падучими...

Почему столько жестокости в мире? — думал я и не находил в себе ответа.

“Земную жизнь пройдя до половины, я оказался в сумрачном лесу...” — процитировал смурно дядя Глеб, выходя в лес тонких колонн конечной станции, но я удивился не этим словам, а странному ощущению одинаковости всех этих станций с ребристыми, лестничноподобными потолками, как будто в этой беготне навзничь, я уже никогда не выберусь на белый свет...

Литера пятая

Станция метро “Домодедовская”

В июне дядя Назар окончательно сменил в маминой жизни дядю Глеба, и мы на время переехали к нему на староарбатскую квартиру, предназначенную на снос. Но, к счастью, все разъезжались: сначала мы с дядей Назаром, которого мама теперь просила называть “папой”, провожали маму в аэропорт “Домодедово”, откуда она должна была лететь в свою Сибирь, то ли в Абакан, то ли Тайшет, где заболела ее мама. Пока мы ехали на “Домодедовскую”, мама успела рассказать дяде Назару всю жизнь своей матери, а я, будто бы разглядывавший книжку Эдуарда Успенского, на самом деле подслушивал их разговор.

Выходило так, что бабушка моя была не человеком, а сущим чудовищем. Причем незаметным. На поверхности она казалась заботливой матерью, которая могла позвонить в три часа ночи лишь потому, что ей приснился плохой сон о моей маме или обо мне. Но на самом деле, как говорила мама дяде Назару, не было на свете большего манипулятора, управлявшего своим мужем как марионеткой. “Это она накрутила отца против меня! — горячилась мама. — Это она рассорила меня с братом и сестрой, а их между собой! Брат мой женился уже на третьей, прежних двоих невесток выжила она, теперь брат сам съехал на Север, чтобы сохранить семью! И что ей неймется?! — спрашивала мама и сама же отвечала: — Душа у ней какая-то переверченная, какая-то безбожная... Другие со старостью становятся мягкими, покладистыми, покорными, но не эта...”

Где-то здесь я заметил, что мама хоть и бросает изредка взгляд на дядю Назара, но по существу разговаривает сама с собой, и это меня немного напугало. “Вон, оказывается, когда отец умирал, сестра рассказывает, что даже в полубессознательном состоянии он гаркнул ей однажды: “Опять ты все вертишься, мельтешишь перед глазами... Пропади ты пропадом!”

Я ужасался все больше и больше оттого, что мама моя говорит эти слова о своей маме, и думал: “Неужели и я когда-нибудь буду так же жесток по отношению к Москве — к своей собственной маме?” — а этого я пугался еще больше и изо всех сил старался уткнуться в “Школу клоунов”, но наливающиеся огнем уши наверняка выдали бы меня, когда бы мама не была так погружена в свой рассказ о матери.

“Когда мне исполнилось семнадцать, я была готова сбежать куда угодно, с кем угодно, вот и приехала сюда “лимитчицей”. Дядя Назар — поскольку сидел в своей капитанской форме — лишь вежливо покивывая ей, все больше думая об окружающих и о том, какое впечатление на них производим все мы, а в особенности же разгоряченная мама. Правда, люди, как обычно, были заняты сами собой, и никто, казалось, кроме меня, не обращал внимания на слегка экзальтированный рассказ мамы.

За этими разговорами мы дотарахтели до станции “Домодедовская”, такой же типовой, как и все станции, построенные после маминого приезда в Москву. Но именно на этой, ничем не примечательной и обыденной станции мама неожиданно ни с того ни с сего набросилась на меня. “Ты думаешь я не видела, что ты подло подслушивал все, что я говорила?! Почему ты не

читал свою говенную книгу? Ты хочешь, чтобы я оставила тебя здесь?! Ты добьешься этого!” — она завела меня за одну из типовых колонн и стала тыкать меня головой в нее. “Ты будешь слушаться?! Будешь еще так?!” Я не знал, как вести себя, ведь только начав кивать в знак согласия с ее первым вопросом, тут же оказался в заложниках ее второго вопроса, и мой кивок еще более взвинтил ее: “Ах, так? Ты еще будешь... Вот тебе за это! Вот тебе...” Дядя Назар никак не вмешивался в происходящее, и если бы не следующий поезд, выскочивший с шумом из тоннеля, мама уж точно бы размозжила мне голову.

Я молча плакал, пока они вели меня, распятого за две руки, наверх, но наверху от этого плача остались лишь редкие судорожные всхлипы. По выходе из метро мы сели в маршрутку и поехали в аэропорт. Теперь всю дорогу мама молчала, теперь изредка заговаривал дядя Назар и просил ее не беспокоиться, отчитываясь то ли перед нею, то ли перед самим собой, что отправит меня на следующей неделе со всем детским садом в Зосимову Пустынь на летний сезон, что будет навещать меня и звонить маме...

В детстве не описываешь пейзажей, в детстве ими живешь. Особенно после обиды и после плача. Шоссе, вдруг взмывающее лентой вверх посреди зеленого бескрайнего российского поля и неожиданно на полном вздохе уносящееся вниз, под сосущую ложечку, и видишь, как эта черная лента обрастает вдали опушкой, туманом, рекой, а ты считаешь столбы по сторонам и восторгаешься натужными ЛЭП, уходящими, как груженные караваны, наискось... Небо, поле, лес, июнь...

Мама улетела днем, а мне с той ночи стали сниться сны про самолеты.

Станция метро “Каширская”

Вернулись мы из “Домодедово” на автобусе и почему-то на станцию “Каширская”. Еще одна типовая станция — и почему их называют разными именами? Дали бы номера, что ли?! Но эта станция, если принюхаетесь, отчего-то отдает слегка запахом прачечной. Я, например, сколько раз оказывался на ней с того дальнего июня, но никак не могу отвязаться от этого ощущения в моем бесформенном носу. Не знаю, впрочем, почему. Может быть, в моих мозгах приключилась некая подмена?

Я впервые в своей жизни оставался в этом городе без своей мамы на срок больше одного дня и одной ночи, оставался с чужим человеком, которого хоть и считала мама своим очередным мужем, но я-то не любил и не признавал. Этот человек чувствовал мою неприязнь и отвечал на нее пусть и скрытой, но намного большей нелюбовью. В дяде Глебе было огромное безразличие, в этом же человеке все бытовало четко и определено: и если он решил скрыть свою ненависть, он знал, как это сделать.

В первую же ночь я расплакался от страха, устав притворяться спящим. Я не мог сдержать ни слез, ни — самое страшное — всхлипов, и тогда он навис надо мной и намеренно мягко спросил: “Чего нюни распустил?” Я испугался этой мягкости его голоса еще больше и уткнулся в подушку, но он включил свет, перевернул меня лицом к себе и, как следователь на допросе, чуть не гаркнул: “Ты будешь отвечать мне?” Я не знал, что я могу сказать: признаться в своем простом страхе, своей сиротствующей беззащитности, покинутости... в чем я мог признаться ему, играющему ленивыми мускулами надо мной?

Меня душили слезы, я раскашлялся. Он стал стучать мне по спине своей увесистой ладонью. Это остановило кашель, но усилило плач. Он сдерживался долго, но плач мой был еще дольше, и тогда он попросту взял свой милицейский ремень и, слегка взмахнув им, стеганул меня через одеяло. Тут я заорал в голос. Он сбросил с меня одеяло и стал стегать ремнем то по спине, то по заду. К счастью, боль от широкого ремня была тупой, но массивной, не той острой и

прожигающей, что бывает от тонкого дамского пояса или прута свежей ивы.

Теперь страхи мои приобрели какой-то смысл, боль ударила в тело, и я закричал изо всех сил: “Мама! Ма-ма!” — как будто хотел докричаться до ее Сибири. Он заткнул своей огромной ладонью мне рот и стал стегать сильнее и сильнее. Задыхаясь, я почувал, как боль растворяется в моем бессилии, и тогда он бросил меня опять лицом на подушку. Я чувствовал опустошение от слез, от мочи, беспрепятственно льющейся из-под меня, и я хотел одного — смерти, чтобы мама прилетела обратно хоронить меня и плакать...

А наутро он повел меня в прачечную, где, не рискуя сесть на стул, я торчал перед барабаном, в котором долгое-долгое время кружились, все в пене, моя кровь, моя моча, мои слезы — то в одну сторону, то в другую, и опять, и опять; так кружилась моя голова — то в одну сторону, то в другую, и вдруг меня стало рвать желтой желчью с редкими сгустками крови, и женщины вокруг засуетились, стали просить кастеляншу в халате вызвать “скорую”, но он показал всем свое красное удостоверение и, с невыжатым и влажным бельем в рюкзаке за спиной, увел меня под землю, где станции до сих пор пахнут прачечными...

Станция метро “Чертановская”

При всей своей хакасско-негритосской ублюдочности, увы, я родился воплощением русской литературы. И не потому, что дядя Глеб величал меня сызмальства “братцем Пушкиным”, а детский сад обзывал Пушкином, и не потому, что чуть ли не с пеленок я читал украдкой все мамины книги: от “Битвы в пути” до “Иду на грозу”, и даже не потому, что жизнь лепила из меня не то чтобы свой “совершенный орган”, а, напротив, бесформенную бессмыслицу, полную боли и страдания, нет! А потому, что... возьму и не скажу почему! Вы давно уже думаете и плюетесь, или наоборот — плюетесь и думаете, небось, что все это выдумки, как это, мол, трехлетний или четырехлетний мальчуган способен все это — ладно бы рассказывать, но раньше еще ощущать, мало того что запоминать...

А я вам скажу, все это до буковки испытано и пережито мной, да, трех-, четырех-, пяти- или шестилетним, и я все это ощущал именно так, как теперь и рассказываю. Разве что теперь, когда я вне своих лет, вне возраста, а точнее, в “возрасте вечности”, мне сподобнее и приличнее употребить тот или иной оборот, то или иное словцо, которое, возможно, и не пришло бы мне в голову тогдашнему — трех- или пятилетнему. Но мое косноязычие — оттуда. А что до ощущений — извольте принять на веру, быть может, даже я и не доказываю их, но лишь очерчиваю, намекаю, что и самому иной раз покажется все больно ходульным, схематичным, а ведь мог бы, скажем, как тот же самый человек из подполья, развернуть на страниц эдак шестьдесят одно-единственное переживание...

Живи я сейчас, думаю я иногда пустотой своего черепа, было бы мне лет двадцать шесть—двадцать восемь — возраст гениальности, так что и стесняться нечего, и оговариваться не к чему.

Перегон “Каширская” — “Каховская”

Под землей я уже прожил больше смерти, чем жизни на земле. Лежишь, и когда пустота в костях начинает свистеть холодом, наподобие перегонов метро перед приближением поршня поезда, возникает некая музыка, как будто Орфей спустился к нам со своей свирелью (или это кости прохудились в тонких местах?), и бесплотные воспоминания наперебой перебивают одно другое, словно и им устроили долгожданный фестиваль...

Тем летом на Фестиваль молодежи и студентов понаехали артисты со всего мира. Москва —

моя мама — похоже, так ожидала внезапно обнаружить среди них и моего первозданного отца, что, несмотря на все запреты ведомственного детсада, забрала меня к себе в город, и каждый вечер мы ходили вместе с ней по карибско-африканским представлениям (благо дядя Назар пропадал все это время на “усилении”). С одной стороны, было радостно видеть такое огромное число своих чернокожих братьев вокруг, но и в то же время лишь только они начинали ластиться ко мне, а через меня — к маме, как мне становилось стыдно и противно, что я — один из них, налетевших сюда, по выражению мамы, “на ловлю счастья и бабцов”. В жизни никогда не видел такого количества негров и не переживал столько радости и стыда одновременно. А как я любил их представления!

...Шумерская богиня любви Инанна решает проникнуть в подземный мир своей сестры Эрешкигаль. Она надевает самые пышные одежды и направляется в мир теней, предупредив свою служанку на случай невозвращения. Инанна стучится в дверь подземного мира, и привратник докладывает о ее прибытии Эрешкигаль. Та страшно недовольна самодурством и прихотями своей сестры, но, поразмыслив, решает пустить ее в свой мир, правда, обнаженной. У семи ворот подземного царства Инанну обнажают все более и более, пока она не снимает последнюю сетку с груди и набедренную повязку и восклицает: “Что это? Зачем?” А ей отвечают: “Молчи, Инанна, таковы законы подземного царства! Скрюченный и нагой приходит человек в страну без возврата!”

Могущественная сестра Эрешкигаль одним взглядом убивает Инанну и ее мертвое, черное, нагое тело вешает на крюк...

Я плакал в антракте, жалея себя и маму, только что вернувшуюся от своих матери и сестры, как будто бы эта история была о ней и обо мне. Мама списывала мои слезы на капризы и сама, растроганная спектаклем, почему-то не ругалась, как обычно, и не накручивала мне уши, а сама шла в фойе — покупать мороженое, которым торговали в Доме культуры по поводу фестиваля.

Мой плач подхватывала служанка Инанны, оставшаяся в нашем мире, она стенала, рыдала, лупила в барабан, как велела ей поначалу ее госпожа. Два бога отказали ей в помощи, но отец Инанны — бог Энки решил помочь: он выковыривает грязь из-под ногтей и лепит из нее двух гонцов, Галатура и Кургара, и снабжает их живой водой и травой жизни.

Галатур и Кургар проникают в подземный мир, где богиня Эрешкигаль плачет над своей несчастной жизнью, и оба присоединяются к плачу. За эту доброту Эрешкигаль отдает гонцам мертвое, черное тело Инанны, и эти двое оживляют его посредством живой воды и травы. Но Инанна должна заплатить за свое сумасбродство: жизнью за жизнь, смертью за смерть. Она должна отправить вместо себя кого-нибудь в подземный мир. Инанна возвращается в зал и видит тех, кто плакал по ней (она вытерла слезы даже с моих глаз)... Один ее черный муж — Думузи, сидевший в углу зрительного зала, насвистывал какую-то модную песенку и не скорбел. Вот его-то и отправляет Инанна в подземное царство.

Но этот чернокожий жеребчик трижды выскользнул из ее рук, и вдруг из другого угла зрительного зала встала его белокожая сестра, которую он назвал Гештинаной, и согласилась подменить своего брата. Но Инанна настаивает на том, чтобы Думузи остался со своей частью наказания, и тогда эти двое начинают вертеться на подземной карусели: как обернется чернокожий Думузи — опускается ночь, как объявится белокожая Гештинана — рассветает день. Ночь — День, Ночь — День...

Так и у нас с мамой шел фестиваль: день — ночь, день — ночь. Было ли в этом просто совпадение, или то был выбор мамы, чего-то предожидавшей или знавшей, но и назавтра мы пошли на хакасскую сказку о подземном царстве (теперь из мудрости прожитых и непрожитых лет я догадываюсь: быть может, так изъясняло себя искусство советского андеграунда?).

Жили-были трое братьев: Бог Небес — Тенгри, Бог Земли — Худай и Бог Подземного Мира

— Эрлик. Как-то вылез Эрлик — этот старик с глазами и бровями черными, как сажа, с раздвоенной бородой до колен, с усами, подобными клыкам, с рогами наподобие корневищ — из подземелья и стал просить у Худая земли. Тот дал ему ровно столько земли, сколько умещалось под его посохом. И тогда Эрлик сделал в земле отверстие и посадил туда черную листовенницу. Выросла листовенница из земли, и по ночам на самую ее верхушку залетал черный петух. Он долго и истошно кукарекал, да так, что всему залу становилось и тревожно, и страшно. Прокукарекает петух, и на сцене умирает человек, находящийся ближе всех к листовеннице. Прокукарекает еще раз — умирает следующий. Побежали люди к Худая — Богу Земли — жаловаться.

А Худай в это время лепил из черной глины нового человека. Бросил он его недолепленным и побежал смотреть на умершего. В это время черный петух обратился в черта — айна, прилетел к недолепленному ребенку и стал его оплевывать; так оплевал, что живого места на нем не оставил, и, опять обратившись в петуха, улетел на листовенницу.

Увидев это, часть людей побежала опять к Худая, а часть, схватив ружья, пошли отстреливать петуха. Выпалили раз — петух, как ни в чем не бывало, закукарекал, да так громко, что жуть его крика накрыла собою весь зал. Пальнули залпом еще раз, а он — кукарекать еще громче и жутче. Правда, здесь, как хвост петуха, распустился ясный день, и петух исчез во тьме листовенницы.

Та часть людей, что пошла за Худаем, нашла его оживляющим умершего человека. Они рассказали ему с ужасом об оплеванном мальчике, не долепленном из черной глины, и тогда Худай, увидев, как несчастен и жалок этот мальчишка, решил направить за петухом в подземное царство к своему брату Эрлику только что оживленного человека. Этот человек обратился в шамана и двинулся в путь. Он шел вокруг кружащейся как карусель сцены, пока не дошел до черного пня от черной листовенницы, и запел вместе с залом:

Черный пень —
Стол для гаданья.
Земля, где узнаешь
О жизни и смерти.
Черный путь —
Глубиной в мирозданье,
Путь, где скачут
Старцы и черти...

Тут ему открылись первые ворота. Опять закружилась сцена, и опять шаман пустился в путь со своим гулким барабаном. Дошел он до черного поля с черным курганом и запел грозным голосом:

Черное поле
Конского топота
Молотом бьет по наковальне,
В черных щипцах
Осколки опыта
Межа раздувают
И ликование...

Опять отворились ворота в черном кургане, и опять завертелась, закружилась сцена. Так прошел шаман с песнями и вскриками ворота черных яров, болота черных лягушек, черные леса черных медведей, черный чан кипящего ада и, наконец, пришел к месту слияния девяти рек, где стоял дворец из черной земли с железной коновязью и толпами черных стрелков. И тут он запел последнюю песню:

На черном подносе
Моя голова.
Я жертвую ею, правитель теней!
Мне черный петух
Нужен взамен.
Худай его просит
Сильней и сильней.
Обруч и обруч
Скрывают меня.
Обруч вихра
Над моей головой.
Отдай петуха Худаю,
Эрлик!
И я распрощаюсь
Навеки с тобой!

Но Эрлик, этот косматый и черный старик, не хочет отдавать петуха задарма и просит взамен душу и тело того недолепленного мальчишки, оплеванного петухом. Ведь все равно он не выберется теперь из унижений и болезней, убеждает Эрлик шамана-гонца. “Как только его доставят к той лиственнице, я выпущу петуха и доверю тебе секрет его уязвимости...”

Опять закружилась сцена, но теперь уже в противоположном направлении, и через девять ворот шаман-посланник вернулся к людям и к Худаю, склонившемуся над своим ослабшим мальчиком. Шаман рассказал им о происшедшем. Но на сей раз Худай отказался отдавать черного и недолепленного мальчика.

Наступила ночь, и над черной лиственницей опять взмахнул своими крылами зловещий черный петух. Стали стрелки осторожно замыкать круг, да так, чтобы никто из них не оказался ближе другого к дереву, и среди них — шаман. Но под самый рассвет, перед самым истощенным криком петуха тот черный мальчишка то ли в стремлении мести, то ли в желании жертвы прорвался сквозь цепь стрелков и в это время петух закукарекал. Мальчик упал замертво, и тело свалилось к корням лиственницы, уходящим под землю. И как раз в это время раздался выстрел залпом, и каждый патрон был помечен крестиком, как то велел шаман, и разлетелись перья петуха по небу, обрызганные кровью, и встал над землей кровавый рассвет, и зазвучала песня шамана о мальчике, спасшем людей от этого зловещего петуха...

Когда мы с мамой оказались какими-то окольными путями у метро “Каширская” с типовым стеклянным гробиком наверху, я с испугом почувствовал, что сейчас нам предстоит идти в то самое страшное подземное царство косматого Эрлика. То было некое мгновенное ощущение, знакомое и незнакомое, а оттого смущающее и пугающее. Я чувствовал себя тем недолепленным черным мальчиком, а маме отдал роль Инанны. Засыпающим умом я вязко следил за каждым нашим шагом вниз, отметил про себя стеклянные двери, затем вторые ворота, оплаченные мамой, затем турникет, следом — вход в самый зал. Вместо нехватящих ворот стояли П-образные арки из светлого мрамора, и, наконец, с гробовым голосом: “Осторожно, двери закрываются! Следующая станция — “Варшавская”” — захлопнулись девятые двери, и поезд понес нас по подземному царству. В каждом окне, где отражались редкие лица, мнился мне то Эрлик, то Эрешкигаль с лохматыми волосами, развевающимися, как грохочущая темнота за поездом; космы одного напомнили мне почему-то длинные волосы и включенную бороду моего прежнего отчима — дяди Глеба, и, пока я привыкал к этой мысли, поезд вдруг вынесло на мраморную просеку станции “Варшавская” с единственным милиционером на платформе, от вида которого вздрогнули мы оба: и мама, и я, но это был не дядя Назар в петушином околыше.

Мысль моя отвлеклась на моих отчимов и отчасти отца, как будто бы они были той самой троицей богов — от невиданных небес через мрачную землю и в черное подземелье, между которыми я скитался, весь оплеванный, но поезд опять помчался в свое темное царство, опять космы Эрлика и Эрешкигаль стали развеиваться ему навстречу, и в животном страхе я ощутил, что не эта поездка поздней ночью бог весть откуда и бог весть куда, а вся моя жизнь — это театральные притчи, воплощенные заведомо и заранее обратно в явь. И вдруг все та же станция все тех же П-образных арок — ворота за воротами — вспыхнула у меня перед глазами, и страх, что мы не движемся вовсе, что разве Эрлик и Эрешкигаль промчались мимо, мгновенно обуял меня, но цепкие глаза мои заметили, что колонны этой станции были более не серо-белыми, но кроваво-коричневыми, цвета гражданской войны. И диктор шаманским голосом подтвердил разницу извне: “Станция “Каховская”. Поезд дальше не идет. Просьба освободить вагоны...”

Литера шестая

Станции метро “Проспект Маркса” — “Площадь Свердлова” — “Площадь Революции”

...Там, в том сентябре... как паучок, колеблющийся в воздухе цвета комедии, качается песня:
Там, в том сентябре кленовый лист светился, как звезда,
Там был счастлив я, как никогда не буду, никогда...

И как этот паучок, навсегда запеченный в сентябрьском янтаре, мы с мамой никак не можем выбраться из этих трех сосен, навсегда заблудившись в них. Ах, что я сказал? Не сосен конечно же, а этих трех станций, соединенных друг с другом полукругом. Как мы там оказались? Мама читала в те дни “Бардо Тодоль” — тибетскую книгу мертвых, как будто бы готовила себя, а через себя, как водится, и меня к новому путешествию, а потому я знал, как важно не терять сознание при вхождении не только в смерть, но и в куда более рутинный сон; но ведь то был не сон, как же я прозевал и входные ворота, и трамплиновый наклон эскалатора, а обнаружил себя и рядом с собой трезвую (это так редко случалось и той весной, и тем летом, и ранее, тем сентябрем) маму, не знающую от своей внезапной трезвости ни зачем мы здесь, ни куда мы собираемся, ни чего мы тут ждем или ищем...

И эта книга, которую маме дала ее подруга — мать двух близнецов из Профкома драматургов, — была при маме, и я, согласно ей, перепрыгивая с белой на белую шашечную кладь пола, между делом думал, что, быть может, мы здесь из-за тети Маши с ее близнецами — Петром и Павлом, но разве это — Арбатская линия? Шашечный пол, как близнец, отражался в шашечно-вафельном потолке, что сверкал тусклым светом, а как говорила книга “Бардо Тодоль” — бойся тусклого света...

Город очнулся от зимы ледяной,
вдруг ярким стал, как на открытке цветной,
только не думай, что все это меня
очень радует...

Песня мерцала непонятно откуда, как будто кто-то из загробных объявляющих забыл выключить систему подземного оповещения, слушая свой транзистор, или же кто-то сумасшедший ходил за нами по пятам с этим самым транзистором или магнитофоном, прячась за массивными то ли колоннами, то ли быками моста...

Нам было негде жить, мама моя, Москва, маясь между писателем и милиционером, не пристала ни к одному, а еще раньше сбежал от нее спортсмен, и я не то чтобы осознавал, но догадывался (а ведь догадка пуще знания!), что не в трех станциях, и не в трех соснах

заблудились мы, а в жизни своей: между телом, уложением и духом. Так я думал о ее мужьях — Спортсмене, Милиционере и Писателе. Мать истоиво, как будто убегая от чего-то, вела меня к переходу, и мы без единого слова мчались в скользкую трубу, а из-за наших спин несло: “Только я помню, что лицо наклоня, ты говоришь мне, что не любишь меня. И возвращается сентябрь, и опять листья падают...”

Мама страшно кашляла вот уже несколько месяцев, после того, как Первого мая мы пошли в парк Горького, а там начался дождь, и мы не знали тогда, что дождь этот из черныбыльского облака: мама сняла с себя легкую курточку и набросила на мои черные кудри, а сама осталась в шифоновой кофточке... Вот и теперь она кашляла, пытаясь ускорить шаг и убежать от этой тягучей, вязкой, неотвязной песни. И так она устала, что лишь достигли мы зала станции “Площадь Свердлова”, как тут же села в выемку пилона под светлой лампой над головой.

От прохлады светлого мрамора кашель мамы успокоился. Мы сидели, вдыхая в себя этот извечный запах московской заболоченной сырости, смешанный с обильным креазотом — запах московского метро, и мамины легкие успокаивались от пришлого радиоактивного вторжения. “Бардо Тодоль” говорил о падениях, о переходах, о тоннелях, и я сидел рядом с мамой и расставлял наши три станции в определенный порядок, как иной мальчишка играл бы в моем возрасте в кубики: от пламенного теоретика революции к унылому и заурядному ее практику, а потом к ней самой — революции. Эти три станции, как ни кинь, — все одно выпадают в некий смысл, недоступно мерцающий впереди, но бойся тусклого, мерцающего света, говорила книга, и ей вторила липучая песня:

Там я остался, где дрожит в лужах вода,
где, как праздник, миг любой,
где с тобою мы не можем друг без друга...

Говорят, этим трем станциям изменили названия на “Охотный Ряд” — “Театральную”, оставив “Площадь Революции”, но смысла того же не лишили: от охоты через представление к революции — все та же триада, в которой путалась со мною моя бедная мама Москва тем сентябрем. Ведь как ни кидай эти фишки — бог Энке, ее косматый, как Маркс, отец, вел взбалмошную свою дочь Инанну через чистилище ее подземной сестры Эрешкигаль, и лишь я один — оплеванный петухом-айной и недолепленный Худаем человек ли, чертенок ли, Пушкин, — догадывался о том, что происходило в нас, с нами, вокруг нас. Ведь догадка пуще знания, и вы помните, как я вспоминал о рассказе дяди Глеба, коим он проклял нас с мамой. Так вот, теперь его писательская догадка превращалась в нашу жизнь, и мы переживали ту ее часть, когда перед самой школой нам было предписано поселиться у сумасшедшей проститутки в Марьиной Роще...

Я смотрел на стрельчато-хиазматические своды станции, в которых вафельная квадратность рисунка была сменена на угловатую ромбовость, а лампы, подпиравшие свет факелами снизу, теперь свисали на конусообразных подвесках с потолка, и соотносил эту смену форм с дорогой от Союза писателей к Книжной лавке и дорогой от Академии МВД к станции “Войковская”, перебирая каждый шаг этих двух дорог, вышагиваемых мною то с дядей Глебом, то с дядей Назаром. С дядей Глебом мы шли по Воровского вниз, переходили на Герцена, далее мимо чудного магазина “Театр”, спрятанного в жилом доме, — единственное место в Москве, где можно было купить пустотелые куклы, надевавшиеся на руки и оживавшие при этом. Именно такие три куклы купил мне однажды на день рождения дядя Глеб, и мы втроем — он, мама и я, надев эти куклы на руки, разыгрывали комедию перед нашей кошкой Кити. До и после этого магазина по пути встречались посольства, но меня больше волновал дом Горького — каменное отражение переделкинских деревянных дач, — у которого бездомный квартиросъемщик дядя

Глеб неизменно вздыхал. Мы пересекали тассовскую площадь, и пока я разглядывал невиданных размеров портреты Горбачева и его счастливой жены, дядя Глеб перебегал улицу и в продуктовом магазине напротив умудрялся опрокинуть по благу стопку горячительного, и мы шли дальше по Герцена, чтобы у самой консерватории свернуть на Огарева, где — вот ведь совпадение! — простиралось огромное желтое здание МВД, к которому приводил меня позже с другого конца дядя Назар, но мы с дядей Глебом никогда не останавливались и не разглядывали это нарядное здание, а, как правило, уходили влево, на переговорный пункт, откуда звонили то его, то маминым родственникам.

По ритуалу после переговорного пункта шел Центральный телеграф, поделенный на окошечки с буквами, где то дядя Глеб, то такая же неумная квартиросъемщица — моя мама Москва получали под разными буквами свои письма с отметиной “До востребования”. Я любил глухие, нетуристические улочки без названий или с названиями, никак не похожими на обычные, наподобие проезда Художественного театра, где мы разглядывали или же книжные витрины, или самолетки в агентствах вроде Скандинавских авиалиний, улочки, которыми дядя Глеб выводил меня сбоку к Большому театру; миновав Большой и Малый, мы съездили на углу по ритуальному пирожку и выходили на Кузнецкий Мост.

Насколько проще и суше была дорога от Академии МВД на улице Зои Космодемьянской до метро “Войковская”: перешел дорогу с трамвайными рельсами, нырнул сквозь заборную дыру в скудное подобие парка и вышел на кольцо миллиона автобусов, троллейбусов, трамваев, да и метро. Дорога, книга, маета...

Знаю, на свете нет нелепей мечты,
что сентябри вдруг перепутаешь ты,
два сентября вдруг перепутаешь ты...

Отдышавшись, мама вела меня уже по третьей дороге: от центра зала “Площади Свердлова” вверх по-над рельсами и по длинному, гулкому тоннелю в торец третьей станции, где своды уже не имели ни вафельных, ни ромбовидных перехватов, а были ровными и тусклыми, стоящими вдоль уходящих вприпрыжку и вдаль двух десятков окаймленных пилонов. Каждая арка здесь охранялась окаменевшими привратниками: косматым стариком, полуприсевшим на колени, опершись на заплечное ружье — Эрлик, я узнал тебя! Чуть поодаль от него затаилась, как рысь, дама с тарелочкой, а то и диском на ладони. Ее вторая рука выступала странным образом у груди в извечном жесте соблазнения: большой и средний палец соединены, безымянный касается ладони, а указательный и мизинец обращены кверху. Эрешкигаль не могла скрыть себя в этой псевдоспортсменке, а потому мы не стали входить в эти арки, а шли дальше и дальше, мимо сумбурных идолов подземного царства, пока не дошли до арки, где мама моя Москва сидела и глядела со страхом в пустоту, держа на плече меня, обнаженного, оставившего все покровы у предыдущих ворот...

Мы стояли лицом к лицу со своей предвечной формой, вылепленной навсегда, и вдруг мне показалось, что вопреки моей воле эта песня рывками выносятся из меня самого, оставляя пустым окаменевшее сердце:

...и придешь ко мне...
Там, там я остался, где дрожит в лужах вода,
где, как праздник, миг любой.
Где с тобою мы не можем друг без друга.
Навсегда, слышишь, остался я
в сентябре, том сентябре,
где еще полдня до того,
когда разлюбишь ты меня...

Тогда и там, в том сентябре, без толку плутая взад и вперед по этим трем бесконечным станциям, я не то чтобы впервые ощутил, но догадался (а разве догадка не пуще знания?), что скоро один из нас умрет...

Зачем тем вечером она выпила с дядей Глебом и ушла спать в спальню, не попрощавшись со мной? Ночью меня разбудил ее храп: она никогда не храпела так громко. Пьяный дядя Глеб, бурча, ушел спать на стульях на кухне. Я отнес этот храп к пьянке и, войдя в спальню, попытался не то чтобы разбудить маму: в пьяном гневе она могла наброситься на меня — дескать, пшшел вон! — но повернуть ее набок.

— Мама, повернись набок, слышишь? — но тяжелое тело ее не поддавалось. Я потянул ее за руку, даже при этом она не проснулась. Упилась, как... — подумал я и, тут же испугавшись своей мысли, еще раз попытался разбудить ее. Нет, она не просыпалась. Я насилу повернул ее корпус набок, и мне показалось, что храп несколько унялся. Он был какой-то странный, не тот, обычный, носоглоточный, а глубже, как будто пузырьки перекатывались в легких.

Я лег у себя в комнате, а утром, встав раньше всех, быстро позавтракал бутербродом и побежал в школу, оставляя им двоим этот дом с тяжелым запахом вчерашней пьянки...

Не знаю почему, но в тот день на уроке ручного труда в мастерской я казался себе уже совсем взрослым. В окошко заглянула почтальонша тетя Лина, что забирала меня иногда после уроков к себе на почту под нашим балконом. Она махала руками, потом пропала на некоторое время, затем появилась в двери, но пошла не ко мне, а к учителю труда. Тот подозвал меня сквозь шум станков, и тогда тетя Лина сказала: “Идем домой, маму твою увезла “скорая”.

Не скажу, что я перепугался, или что... В таком возрасте радуешься всякой неожиданности, всякой возможности выбиться из строя, чем-то отличиться, хотя бы тем, что за тобою пришли, поскольку маму твою забрали в больницу. Так что я победно увязался за дебелией тетей Линой в ее извечных шлепанцах.

Первая тревога охватила меня, когда у нашей квартиры я увидел множество соседей, правда, мало кто обратил внимание на меня за исключением тети Олеси — маминой подруги из нашего подъезда, которая, лишь завидев меня с тетей Линой, тут же спросила: “Ты ведь знаешь адрес своей бабушки в Сибири?” Я согласно кивнул головой. “Бегите вдвоем на почту и шлите ей телеграмму, что мама попала в больницу с отеком легких. Пусть срочно выезжают!”

Я сбросил портфель и побежал с тетей Линой на почту, в обход нашего огромного дома под наш тыловой балкон. Светило мартовское солнце, не давая еще никакого тепла, да и снег не собирался таять, а деревья — бухнуть почками. Мы бежали, и я старался соизмерять свою скорость с тяжелой тетей Линой, скользившей на синих наледях торцевой тени, а потому то и дело цепляющейся за стену.

Когда мы оказались на почте, она вошла первой и тут же скомандовала: “Девочки, срочная телеграмма-молния...” Я подошел к окошечку, где меня уже ждали перед телетайпом, и стал с ходу диктовать сибирский адрес, и когда он завершился фамилией Ржевских, тетя Лина попросила диктовать теперь сам текст.

— Срочно выезжайте, точка. Срочно вы-ез-жай-те... — повторял я на всякий случай. — Мама... ма-ма тя-же-ло заболела... за-бо-ле-ла...

— Пишите: “Умерла”!

Я оглянулся на этот знакомый голос, прозвучавший из-за спины. За мной стоял, дыша слегка вчерашним перегаром, дядя Глеб.

— Пишите “у-мер-ла”!

Когда я вошел в нашу квартиру, где, запуганная от обилия посторонних, наша новая кошка Мики забила за обувной шкаф, в ней все еще стоял все тот же кислый запах вчерашней пьянки, усугубленный обильным расходом “Тройного” одеколona. Почему-то на кухне была

включена радиоточка, из которой диктор беспрестанно бубнил о перестройке и ускорении. Никому ни до кого не было дела, и я, до сих пор не проронивший ни слезы, увидел, как боязливо Мики пересекает коридор, как, оглядываясь по сторонам, растворяет щель кухонной двери, входит ко мне и жалобно мяукает...

И тут я не выдержал. Обняв это теплое, маленькое, родное существо, я вырыдался до глубоких всхлипов, а Мики только мяукала и терла намокшим хвостом мне щеку...

Литера седьмая

Станция метро “Аэропорт”

Вот тогда и приехала моя бабушка, о которой я говорил вначале, чтобы забрать тело моей мамы для похорон у себя в Сибири. С дядей Глебом мы встретили ее на городском аэровокзале: дядя Глеб так и договорился с нею по телефону: “Меня вы узнаете по своему внуку, я буду стоять у центрального табло с негритенком”. Бабушка оказалась каменнолицей бабой без платка на голове со слежавшимися полуседыми волосами, собранными сзади в две запутанные косички. Она шла, переваливаясь с боку на бок, и от этой походки даже ботинки приобретали вид домашних тапок, наспех нацепленных на ноги. В руках ее был брезентовый баул, перевязанный клеящей лентой, а поверх нее бельевой бечевкой крест-накрест.

Я не знал, как вести себя при ее приближении, а потому стоял, слегка спрятавшись за дядей Глебом, но она глядела буравящим взглядом на меня, подходя, как по резьбе этого взгляда, все ближе и ближе ко мне, и, наконец, достигнув пределов слышимости, она воскликнула: “Вот, сказал, что с негритенком... Это ты, что ли, Глеб будешь?!” Дядя Глеб подался услужливо навстречу, перехватывая из ее рук тяжелый баул, а я остался там, где и стоял, пока старушка не спросила: “А ты по-русски говоришь?” Я кивнул в ответ. Потом она, как опомнилась, вдруг подошла ко мне, положила тяжелую, мясистую ладонь на мою голову и заявила: “Сирота ты круглая!”

Дядя Глеб совсем уж лебезил перед ней, таким подобострастным я не видел его никогда. “Мама, нам нужно в метро, а там на автобусе... с полчаса... Вы не устанете?” Она же вместо ответа с любопытством пошерстила мою жесткую и курчавую шевелюру и продолжила: “Забрать тебя, что ли, с собой? Так у нас в Сибири негров отродясь не бывало...”

Я весь съезжился под ее рукой, но еще более под тяжестью ее предстоящего решения: я не хотел никуда уезжать из Москвы, из города, названного именем моей мамы, где она родила меня, где растила, где, наконец, умерла без меня...

“Ну давай, веди меня в это метро!” — распорядилась по-хозяйски старушка, и я, поспешив принять эти слова на свой счет, выскользнул из-под мясистой десницы и, пересекая площадь перед зеленым зданием “Аэрофлота”, засеменял к метро без оглядки на ее валкую походку рядом с изогнутым надвое дядей Глебом.

Через гудящий Ленинградский проспект, как свой оберег, я увидел свою рубиновую букву “М”, раскорячившуюся такой же бабушкой на своих толстых ногах, широко расставленных для вящей устойчивости. Казалось, что эта буква стояла, скрестив руки на груди и заявляя свои права на меня, наперекор этой приезжей старухе, и я спешил к этой развязке.

Началось с того, что дверь со всего размаху врезалась в бабку и ее баул, и тот полетел в натопанную грязную жижицу, старуха же схватилась за окровавленный нос. Больше всех убивался юродивый дядя Глеб: он чувствовал, что переигрывает в своей услужливости и оттого пытался быть отстраненно интеллигентным, а это делало его еще более смешным.

“Мама, надеюсь вы не ушиблись... Вот вам платочек... Не беспокойтесь, баул я вытру им после вас...”

Потом бабка споткнулась и опять баул покотился по ступенькам вперед нее, и опять она проклинала и эту проклятую Москву, и ее проклятое подземелье...

Внизу, на платформе, где под лепестками ангара толпился народ, прилетевший из разных концов Союза, бабка не успела протиснуться в вагон и ее зажало дверьми, так что и дядя Глеб, и еще двое мужиков уже на ходу пытались разжать двери и втащить бабку целиком в вагон. Она распотелась, оттого приобрела вид настоящей ведьмы или Бабы-Яги в пальто, ее тяжелое дыхание показывало все увеличивающийся испуг.

Я был отмщен. Именно тогда я осознал, что это царство — мое, что оно на моей стороне и, если понадобится, оно и защитит, и охранит, и отомстит за меня...

Станция метро “Сокол”

Одно преимущество моей забытости в бесконечном чистилище — это возможность обдумать то, на что не хватило времени жизни. Говорят, что к двадцати семи годам человек достигает пика своих мыслительных способностей. Может быть, некая несуществующая проекция этих самых несуществующих двадцати семи лет и мучает меня, заставляя впадать в ностальгию, слагать то стихи, то эссеистические трактаты...

Странно сказать, но в этом нет никакой земной логики: я вспоминаю одну из красивейших, на мой вкус, станций московского метро — “Сокол”, и вместо того чтобы мерить ее красоту мерой красоты какого-нибудь стихотворения — мне, напротив, хочется отставить в сторону все стихи и быть абсолютно точным в описании этой станции, тем более что она наталкивает меня на долгие мысли о природе советского метро.

Глядя мысленным взором на ее геометрически безупречную форму — два идеальных лепестковых сопряжения, свивающиеся в цветок купола, я думал о том, что метро — это подсознание советского строя, его коллективное бессознательное, его архетип. То, что не удавалось на земле или не удавалось в полной мере, было во многом достигнуто под землей. Массы, целиком управляемые с точки зрения времени и пространства, пассажиропотоки, строго регламентированные изящным чертежом роботоподобного насекомого с круглым брюшком и дюжиной железных лап и усиков. Этот вездесущий паук мог символизировать партию или ГПУ-КГБ, обладая сотней мелких глаз на каждой лапке, на каждом усике. Вход фиксирован, выход фиксирован, все прихвачено со всех концов.

Потом — чисто коммунистический принцип: там, в метро, деньги ничего не значили, там на них ничего нельзя было купить, не на что обменять, не на что потратить. Человек значил то, что он должен был значить сам по себе — и только.

А самое главное — эта тотально управляемая система была выведена за скобки, она как бы существовала, и ее в то же время как бы не было. То есть идеал был достигнут, но, как это водится, не на земле. Но кто сказал, что неземной идеал должен располагаться над землей, а не под нею?

Строительство столь великолепных станций среди тьмы червоточных тоннелей, было подсознательным намеком на райское обустройство жизни — пусть под землей, на месте общепринятого ада. Иными словами, коммунизм строился в экспериментальных условиях, вдали от спутникового вражьего глаза, и в этом смысле смею утверждать, что лучший музей коммунизму и Советам — это московское метро, а один из тронных залов этого музея — станция “Сокол”.

Так думал я в июньском безделии своего подземелья, отражая двумя пустыми глазницами

изящную линию сопряжения двух клеверных листьев этой станции с третьим лепестком, уходящим в купол моего черепа...

Станция метро “Водный стадион”

Совершенно безотносительно к тому дню и к моей бабушке хочу рассказать вам историю, что приключилась, быть может, за месяц до того с дядей Назаром, моим вторым отчимом. Учился он в Академии МВД на “Войковской” и, как я уже рассказывал, был ко всему отменным спортсменом, чем постоянно чванился передо мной. Но однажды он рассказал маме историю, которая перевернула мое представление о нем, и мне тогда стало его по-настоящему жалко.

А дело было так. В академии проводились межкурсовские соревнования по милицейскому троеборью: подтягиванию на турнике, стрельбе из пистолета и лыжному пробегу. Так вот по подтягиванию и стрельбе дяде Назару не было равных на курсе, но оказалось, что он никогда в жизни не стоял на лыжах. Но капитан их курса рассчитал, что если дядя Назар сделает все как надо в двух первых видах троеборья и просто заявится на дистанцию, то он принесет команде больше очков, чем самый завзятый лыжник. Тогда дядя Назар взял ручку и листок бумаги, чтобы подсчитать, сколько времени он затратит, если просто возьмет лыжи под мышки и пробежит эти злополучные 5 километров трусцой. Не больше часа! “Так это и есть зачетное время!” — воскликнул капитан, и на том порешили.

На следующий день до обеда дядя Назар проблистал и на турнике, и в стрелковом тире, а после обеда их отправили с “Войковской” на “Водный стадион”, где по заледеневшему каналу и была проложена лыжня. Участники забега переоделись в раздевалке, особо их просили подождать что-нибудь вокруг паха, чтобы не отморозить свое “мужское достоинство” (такое, как заметил дядя Назар, оказывается, случается часто), и позвали к реке на старт.

Дядя Назар попробовал встать на лыжи, копируя других, и, знаете, получилось: ноги не разъехались враскорячку, лыжи не наехали одна на другую. Правда, снег налип на них очень скоро, но дядя Назар подумал, что на ходу лыжи разойдутся. Все предвещало успех.

“На старт!” — раздался хлопок выстрела, и лыжники рванули к той заветной лыжне. Рванул и дядя Назар, но тут-то и начались те самые закавыки: то лыжа вдруг наедет на лыжу, то ноги расползлись враскорячку, то собственные палки спотыкаются то о лыжи, то о ноги, то друг о друга... Тогда дядя Назар сбросил крепление, взял лыжи под мышки и бодро зашагал по притоптанному снегу. Шаг был скорый, но лишь дошел он до лыжни, как стал проваливаться в снег. Причем нога разом, с криком, уходила в снег по колено, и когда он пытался ее вытащить, другая с такой же неистовостью погружалась по соседству. Дядя Назар сообразил, что надо опираться на лыжу, и кое-как выбрался на наст, чтобы снова нацепить крепления на ботинки, кое-как, с трудом балансируя, встать в полный рост и попытаться осторожно — на полшага — заскользить одной лыжей. Так... Теперь перенести центр тяжести на нее и сделать то же самое с другой лыжей...

Так, полшага за полшагом, дядя Назар пробирался по лыжне. Лыжники давно уже исчезли из виду, как и исчезли и судьи — размориться кофейком на рассчитанный срок, и одинокий дядя Назар шел навстречу пронизывающему ветру по белоснежной пустыне Водного стадиона.

Долго ли, коротко он шел, но вскоре стали показываться один за другим участники пробега, идущие уже в обратную сторону. “Далеко еще до поворота?” — спросил дядя Назар замороженным ртом своего однокурсника. “Километра два...” — бросил тот. К чести дяди Назара, он не срезал на полпути, а честно отбарабанил до самого поворотного флага, но к тому времени уже твердо установились синие, долгие, зимние сумерки, и дядя Назар то ли с новым подъемом, то ли от бязни остаться на лыжне на ночь бодро ринулся в обратный путь.

К обратному пути он уже кое-как стоял на лыжах, и даже когда одна из лыж делала накат длиннее шага, умудрялся устоять на ней, задирая над снегом, как одноногая цапля, вторую лыжу. Час-другой на обратный путь, и в темноте, по которой его, к счастью, вела одноколейная лыжня, он, наконец, добрался до финиша, о коем он догадался по той самой вытоптанной поляне, начинающейся с двух глубоких рытвин у лыжни.

Разумеется, на финише никого не было. Но никого не было и в раздевалке, где после душа и пивка все уже разошлись. Правда, судья оставил записку в двери с инструкцией, как запереть эту самую дверь и где оставить ключи. Кто-то из доброхотливых сокурсников оставил свою недопитую бутылку “Жигулевского”, но дядя Назар был хорош и без того. У него хватило сил лишь переодеться. И только сидя на скамейке в метро “Водный стадион” и не зная, в какую сторону ехать, дядя Назар ощутил вновь, что он жив и что он в Москве...

Вот и сейчас, проезжая мимо этой станции, которую я всегда преждевременно путаю с “Речным вокзалом”, где мы сейчас остановились на минуту, я выглянул в открытые двери, в промежуток между деревянного цвета колонн, где как будто проложена долгая лыжня посередине — нету ли там идущего или сидящего, но как бы то ни было — оставленного и покинутого дяди Назара, которого я всегда доселе считал ахалтекинским жеребцом...

Станция метро “Речной вокзал”

Есть какая-то невсамделишность, незаправдышность даже в самом жарком московском лете. Зелень листьев и травы какая-то вялая, с ответом лесных прохладных болот, а оттого и тени под слегка увялыми липами нечеткие, как будто бы и солнце всего лишь притворяется, а на самом деле, не то чтобы выжечь — тени четко навести не может. Жар его остается где-то высоко и далеко, наверху и побоку, земли же под болотистыми деревьями достигает лишь весело-унылый свет. Особенно же эту притворность московского лета осознаешь на настоящем юге — июльском Коктебеле, августовской Пицунде — моих солнечных Африках, куда дядя Глеб брал меня как сироту на бесплатную путевку от доброхотливой Ады Ефимовны из Литфонда, которая до сих пор помнила мою маму — Москву.

Уж там солнце светило без подделок, так, что кожа моя начинала звенеть, как на раскаленном барабане.

— Мбобо, — говорил мне дядя Глеб, забывая, что до сих пор я был для него “братцем Пушкиным”, — Мбобо, — называл он меня любезным прозвищем, оставшимся в наследство от мамы, — Мбобо, ты теперь настоящий негритенок! Убей меня, но все эти старперы опишут тебя в своих книгах! — Лежа на раскаленном пицундовском песке вперемешку с галькой, он обводил рукой все побережье: — Все, все!

Я ведь говорил вам, что хоть и звали меня по метрике Кириллом, но мама сызмальства называла меня Мбобо — за толстые губы, за цвет кожи, за некую прирожденную гундосость, а потому в своем восприятии я был куда более Мбобо, нежели Кириллом, и когда кто-то называл меня Кириллом, мне казалось, что человек решил меня подразнить.

Все пицундовские знаменитости — и Фазиль Искандер, и Анатолий Приставкин, и братья Чиладзе, и еще бог весть кто — знали меня как Мбобо. Правда, Тамаз Чиладзе обращался ко мне чинно на “вы” и величал Мбобо Глебовичем. Между нами, я бы предпочел или просто Мбобо, или же Кирилла Глебовича, но перечить старшему было неприлично, тем более что именно они — братья Чиладзе вместе с Нодаром Хундадзе вывезли нас однажды местным автобусом в Черкесское ущелье на винопитие.

Ах, эта дорога, уходящая змеей вверх по ущелью, — едва помещаются колеса автобуса — с одной стороны стена горы, покрытой лесом, а с другой — обрыв, на дне которого шумит и

бурлит речка. Как будто бы все кавказские стихи и Пушкина, и Лермонтова, как струи Арагвы и Куры, сплелись здесь воедино, и к ним прицепили еще маленький автобусик, ползущий жучком все выше и выше. В конце концов, за каким-то поворотом открылась лощина, а в ней хозяйство с домиком лесника, и мы со всего разгону въехали в этот зеленый лесной двор, и жужжащий мотор заглох. В оглушающей тишине нас встретил одиноко-шумный и праздный на всех грузин-лесник и тут же повел за огромный деревянный стол, стоявший перед его срубом в пестрой тени лесного орешника.

“Вах-вах-вах, и бога вийна с собой привезли...” — сказал он, глядя на меня, и старший Чиладзе представил меня: “Эта Мбоба Глэбович!” — “Какое грузинское има!” — всплеснул руками хозяин и с ходу предложил тост за грузина в каждом из нас. Не отдышавшись еще от пути, все стали пить его специальное вино по названию Изабелла. Выпили за Изабеллу, потом просто за Беллу, потом за Глеба Мбобавича, за абхаза Фазиля, за грузина Отара, за татарина Ахяра, за француза Ива, словом, за всех, включая водителя Датико, его собаку, жареную кукурузу, которую ели, орешник, под которым сидели, землю, на которой жили...

Пили, говоря, что “дразнят Горбачева”, пили много, но пьянели как-то весело и вольно, как этот пестрый лес высоко в горах, не так тяжело, как пьянеют в Москве; и дядя Глеб плакал на плече то ли еврея, то ли русского Горбунцова, в чем-то каясь и винясь, и все понимающе кивали мудрыми головами.

Там, в Черкесском ущелье, мы остались ночевать, а наутро после завтрака с горячим лавашем и сулугуни, когда наш жучок побежал по серпантину вниз, у самого съезда с гор на дорогу нас остановили автоматчики. А потом еще одна группа, и через километр на реке Бзыбь еще одна... Я ничего не понимал, меня только выставляли и что-то оживленно и нервно кричали то по-грузински, то по-абхазски, а еще заставляли почему-то говорить по-французски француза Ива, и это каким-то образом разрешало наше движение до следующей группы вооруженных людей. Мы доехали до Дома творчества лишь к вечеру, а на следующий день, наспех собрав чемоданы, выехали в Адлер, а оттуда вылетели в Москву.

Нет, никто из тех знаменитостей не написал ничего обо мне. Теперь-то я понимаю, что меня — черного они использовали как свой белый флаг... Но зато мы остались живы...

Автобусы и троллейбусы едут в сторону Левобережной, я смотрю на медленно синее небо, на окна, что зажигаются то там, то здесь, и я думаю, что и Пушкина русские держат в образцах лишь потому, что он не паясничал и не юродствовал, как другие, и в этом смысле он был небывалым русским — идеалом, каким русскому не быть. Быть может, поэтому, думал я, сломанный дядя Глеб оставил меня у себя как образец небывалого русского, поскольку и я не умею ни юродствовать, ни паясничать, хотя видом — ни дать ни взять — обезьяна, Мбобо...

И вправду, есть в среднерусском, московском лете какая-то невсамделишность, незаправдышность, как, впрочем, и в русском характере, что ли... Вот и дядя Глеб, совсем не как Пушкин, сдружился с дядей Назаром после смерти моей мамы, принадлежавшей некогда одновременно им обоим...

Станции метро “Горьковская” / “Чеховская”

В год своей смерти мама моя — Москва, так и не разобравшись сама в себе, жила попросту поочередно то у дяди Назара, то у дяди Глеба. Я при этом оставался все в той же школе на Левобережной, куда мы переехали с Гончарова, и когда мама уходила под разными предлогами к дяде Назару, меня по договоренности забирали то соседка, то почтальонша из почты под нашим балконом, а то и пьяный, но смирившийся и оправославившийся дядя Глеб.

Из этого боголюбия он и взял, наверное, меня к себе, ведь поначалу я, помнится, жил в

основном у него, хотя время от времени оказывался и у дяди Назара.

В первые годы после смерти матери я довольно часто убегал из дому — будь это квартира дяди Глеба в Бибиреве или же дом дяди Назара, подлежащий сносу, в закоулках Арбата. Я стал очень обидчивым, и то, что я мог вытерпеть от двух отчимов при живой маме, теперь так сильно обижало меня, что я не находил иного средства. Обиженный грубой репликой или окриком, я бежал весь в слезах сначала на школьный двор, где всегда кто-нибудь из забытых в продленке или же завязтых второгодников играл в футбол или в волейбол; там я доживал свою горькую жизнь до вечера, а вечером подавался поначалу в центр, на Арбат, к дяде Назару. Ехал я долго: автобусом до “Войковской”, изучая то Алтуфьевское шоссе, то Большую Академическую улицу, то какой-нибудь Коптевский переулок, потом пересаживался на метро и гнал до “Горьковской”, где иной раз выходил на улицу, чтобы поглазеть на черную бронзу моего собрата Пушкина, освещенную фонарями в темноте. Затем шел к кинотеатру “Россия”, заворачивал в сторону Ленкома (это там в магазине проклятый Глеб недавно купил свою проклятую “Оптиму”) и спускался на новую станцию “Чеховская”, делая таким образом переход от Горького к Чехову полным наземного смысла.

Я никогда не переходил с одной из этих станций на другую под землей — уж больно похожими, за вычетом цвета (гранитный Горький и пепельный Чехов), были они, а мне всегда хотелось держать их почему-то порознь. “На дне”, которую мы смотрели с Глебом в новом МХАТе, никак не хотелось мешать со старомхатовской “Чайкой”, не по сути и постановке пьес, а лишь в силу запаха самого театра. Увы, театр для меня был и оставался тем, старомодным, “партер уж полон, ложи блещут”. Другими словами, на моем дне я всегда мечтал о розовой чайке...

Но тем июнем, когда вся страна жила театром первого съезда народных депутатов, Глеб и Назар сошлись в консенсусе и решили не пускать меня к себе, когда я убегал от одного к другому.

Июньским долгим вечером мне пришлось оторвать дядю Глеба, ставшего затем навсегда “проклятым Глебом”, от речи академика Сахарова на съезде вопросом, где мой циркуль. В ответ он тут же разорался, что я такой же хам, как и моя мать, никогда не считающийся ни с кем, как не считалась и она, и что если я стану вести себя так и впредь... Пока он кричал, я вышел в свою комнату, но он рванул мою дверь, накричал в комнату еще что-то про мою черную толстокожесть и, хлопнув дверью, ушел опять смотреть в телевизор своего Сахарова. Выплакавшись, я тихо вышел на кухню, умыл лицо, потом надел кеды и тихонько выскользнул в подъезд. Я не стал греметь лифтом, а спустился по лестнице, воняющей, как всегда, кошками и мочой, и вышел на улицу.

Солнце никак не заходило, а все катилось и катилось по краю земли, где-то далеко за соседскими домами. Я пошел на школьный двор. Там, поплеывая, развалился на единственной скамейке мой одноклассник Ванька Кореновский, у которого не было отца. Мы посидели некоторое время вместе, пока не показались двое старшеклассников: Серега Демин по прозвищу Кирса и еще один, которого я не знал. Они согнали нас со скамейки, а когда мы собирались уже уходить, Кирса окликнул Ваньку, а потом меня: “Пушкин!”, и сказал: “Курить бутте?” Ванька от нечего делать кивнул в ответ, и я поплелся за компанию. “Пушкин, закрой обзор”, — приказал второй. Мне было неприятно, что он зовет меня как знакомого, но я встал перед ним. Он достал папиросу, стал аккуратно высыпать из нее табак себе на ладонь, сминая пальцами вощенку папиросы. Когда весь табак высыпался, Кирса достал из кармана маленький черный катышек с острым пряным запахом, размельчил его еще на меньшие шарики и смешал на ладони второго все это зелье с табаком. Затем он поставил Ваньку перед собой, оглянулся по сторонам и попытался стянуть вощенку с папиросы. Она удлинилась, но не слезла, и Кирса стал

сгребать этой вощенкой табак с ладони второго обратно в папиросу. После каждого гребка он слегка опрокидывал папиросу на попа, и табак засыпался в свое обычное место, утрамбовываясь да готовя место для следующего гребка. Кирса сминал вощеную часть папиросы пальцами, чтобы табак с непонятным зельем ложился равномерно по телу папиросы, и когда весь табак вернулся в папиросу, оставив маленькое пространство у самого конца пустым, Кирса скрутил конец вощенки сигаркой, и второй поднес горящую спичку к этому концу.

Я боялся, что они хотят разыграть нас кусочками пороха в папиросе, чтобы дать нам прикурить, и в это время папироса бабахнет, но Кирса затянулся глубоко-глубоко этой папиросой сам. Потом он протянул ее второму, выдыхая из себя дым, мягко отдающий индийскими благовониями, что любила зажигать моя мама по воскресеньям. Второй тоже затянулся, томно закрыв глаза и задержав на некоторое время дыхание, шумно выдохнул: “Давай, Пушкин!”

Я никогда до этого не курил. Лишь однажды пьяный Глеб сунул мне в рот свою “Приму”, и я чуть не задохнулся от кашля, поэтому я заколебался, но когда Ванька с форсом решил полезть вперед меня, ябедничая: “А он у нас отличник...”, я без раздумья схватил папиросу и повторил с замирающим сердцем то же самое, что делал Кирса. К удивлению, дым оказался мягким и обволакивающим, наподобие кашельной микстуры.

Я глубоко вздохнул еще раз, теперь уже носом, и острый воздух с запахом маминых благовоний, закружив голову, оставил меня легким, невесомым и беспечным. Отчего-то хотелось смеяться, радоваться, как будто с этими благовониями вернулась мама, как будто бы смерть, за которой она скрывалась, была лишь завесой дыма, который надобно было лишь выдохнуть, и вот...

Я никогда не испытывал подобного чувства облегчения — шаги мои были семимильными: шаг — и я не помню, где я оставил Ваньку Кореновского, Кирсу и еще того, третьего, который долго кричал мне вслед: “Пушкин! Пу-у-шки-и-ин!”, второй шаг — и я сижу в своем подземном царстве, еще один — и я на станции то ли “Горьковская”, то ли “Чеховская”, не зная, бомжом, на дне или чайкой в небе...

*Станции метро “Боровицкая” / “Библиотека имени Ленина” /
“Арбатская”*

В переходе между этими станциями я вспомнил, что дядя Назар, или “подлый Назар”, не пустит меня к себе, а если и пустит, то своим ментовским носом учует, что я обкуранный, и чего доброго сдаст меня в какую-нибудь инспекцию по делам несовершеннолетних на учет и перевоспитание... И растерялся. Было еще одно место, куда я мог пойти — к нашей старушке Ирине Родионовне, что принимала меня при родах, но она обычно уезжала в начале июня то в Кисловодск, то в Пятигорск на грязелечение. С этими неутешительными мыслями я слонялся бесцельно со станции на станцию, смешиваясь то с той, то с другой толпой, чтобы не попасться на глаза ни дежурным по станциям, ни уже подвыпившим, а оттого хамоватым милиционерам. Шныряя с толпой то туда, то сюда, я оказывался то у согнутых насилу и на слом, как скрепки, у арок “Боровицкой”, то в космическом ангаре “Библиотеки имени Ленина”, то, пройдя по навесу, в изящных палатах одной из “Арбатских”, меняя ее на скученную колоннаду другой “Арбатской”.

Часы уже двигались к полуночи, народ стал редеть, а я все не знал, куда мне подеваться в таком состоянии. “Трудно человеку, когда ему некуда идти”, — вспомнил я книжную фразу и ощутил ее не книжную горечь. Царство мое выталкивало меня своей пустотой наверх.

Но в это время приехал пустой поезд, растворил пустые двери, заученный голос сказал заученную фразу: “Граждане пассажиры, просьба освободить вагоны! Поезд следует в депо!” Водитель прошел мимо меня, заглядывая в пустые вагоны, и когда он удалился на два вагона, я решился. Протыкнул в крайнюю дверь, поднял сиденье и нырнул в пустой ящик. Поезд шел долго, опять открывались двери, кто-то наспех прошелся пылесосом, пока я, как мышонок, сжимался калачиком на остывшем металле, потом стало совершенно темно — ни просвета в щелочке, — и я осторожно приподнял сиденье и выглянул наружу. Стояла мертвая тишина ночного депо.

Я вылез из своего укрытия и решил остаться на ночь прямо здесь, на моем сиденье. Лежать было жестковато, но еще и зябко. Я долго ворочался с боку на бок, но уснуть никак не мог. Тогда я встал и стащил точно такой же мат с противоположного сиденья и, накрыв его лицевой стороной свое лежбище, пыхтя влез между двух матов.

Не помню, как я уснул, но помню, как проснулся от резкого толчка, когда состав тронулся с диким скрипом, а мат заскользил по моему заочневшему телу и грохнулся на пол. Я вскочил, положил его на место, быстро распластался на полу у сиденья, и когда поезд, набирая ход, лишь приблизился к станции, я со страшно колотящимся сердцем быстро забился в угол. Первый пассажир, ничего особенного... Вошла старушка с бидоном. Увидев меня, почему-то перекрестилась и засемила в противоположный конец вагона. Но я проехался с нею лишь до следующей станции, где и вышел на свет...

Станция метро “Площадь Ногина”

С самого детства я смотрел на свои розовые пятки и выдумывал теории о том, что и негры, должно быть, рождаются светлыми, но солнце мгновенно чернит их, натываясь на подкожные клетки, которые поглощают солнечный свет, отражая только темноту. Так проявитель действует на фотобумагу. Ведь и себя изнутри я не чувствовал негром, скорее, хакасом, когда ощущал в своем взгляде еще и мамин взгляд, как бы слитый с моим. И лишь зеркало делало меня тем ненавистным, кого воспринимали окружающие, называвшие Мбобой, обзывающие “Пушкином”, окликающие “черным”, “шоколадкой” и еще бог весть какими именами.

Именно там, в метро, впервые екнуло мое сердце при виде девочки, что, как и я, была в подземном мире сама по себе: ни матери, ни бабушки, ни даже скрипки на боку — пусторукая и беспринадлежная. Была в ней какая-то беспомощность, которая заставила меня окликнуть ее из-за ржавой колонны на “Площади Ногина”: “Девочка!” Она беспомощно оглянулась, потом стала пугливо озираться по сторонам. Здесь я почувствовал свою силу. Говорю же, что изнутри я не ощущал себя черным и страшным чернокожим, скорее, хакасом, а здесь, в родном московском метро, и вовсе русским — словно дед, как Ганнибал, проглядывал сквозь меня.

Сначала я хотел подойти и просто представиться — хоть Ржевским, хоть Мбобо, хоть Пушкином, но, пока собирался, подъехал поезд, и она неожиданно ловко нырнула в дверь, не дожидаясь выхода пассажиров, так, будто делала это каждый день.

Я бросился к другой двери, но пассажиры уже валили непробиваемым потоком. Когда я наконец оказался в вагоне, сразу увидел, что ее в этом вагоне нет. Пробился к торцевой двери в надежде увидеть ее в соседнем вагоне, но там, заслонив мне окно, целовались парень с девушкой. Оставалось ждать следующей станции.

Никогда поезд не ехал так медленно. А в середине перегона его остановили. Машинист невнятно извинился за задержку, но я какой-то нечеловеческой, зверской интуицией, доставшейся мне то ли от африканских, то ли от сибирских предков, почуял, что все это разыгрывается нарочно против меня, чтобы мое сердце выбивалось из грудной клетки и

застревало в горле то ли от гнева, то ли от нетерпения, то ли от какого другого чувства, имени которому я еще не знаю.

Но, в конце концов, заскрипели колеса, и стук их медленно стал догонять стук моего сердца, а когда они почти сравнялись, поезд вынырнул на станцию, отчего мое сердце безнадежно понеслось опять вперед. Я выскочил из своей двери и, как иголка на мелкой стежке, мгновенно юркнул в дверь следующего вагона. Поперек то выходящего, то входящего народа я пробежал весь вагон. Девочки нигде не было, и я судорожно бросился к уже закрывающейся двери, которая тут же врезалась мне в оба бока, так что не я, а крик мой да крик кого-то из вагона: “Макака психованная!” — выкинули меня на платформу.

Платформа была пуста...

Станция метро “Третьяковская”

Платформа была пуста... Сверкал холодный мрамор пилонов, отражая пустоту, тускло поддакивал им холодный гранитный пол, и вся эта серость скопилась вокруг, чтобы обозначать собой огромную дыру в моем сердце, дыру, уходящую своим горлом куда-то наверх, где исчез последний человек. Бежать ли за ним? Спрашивать ли тех, целующихся? А может быть, я ошибся вагоном, взглядом и упустил что-то? Наверх? Дальше? Обратно? Куда? Станцией назад я, всемогущий, покровительствовал той девчонке, я, казалось, опекал ее, я... и что теперь я сам, озирающийся беспомощно по сторонам с массивными колоннами тяжести на сердце, сквозь которые пробурили метро и оставили его безлюдным?...

Станция метро “Полянка”

Я искал ее по всем станциям, стоял в то же самое время на “Площади Ногина”, где я ее нашел изначально, потом меня тянуло на “Третьяковскую”, где я ее потерял... Я выглядывал темноту между этими двумя станциями, вспоминая тот июньский самый долгий день, когда мы пребывали в этой темноте, причем в одном поезде, всего через вагон. Мне казалось, что вдруг да и сверкнет ее отражение в окне, в мраморе, в глазах, но ее не было нигде. А может быть, думал я, мне это все привиделось, мало ли что делает с человеком самый длинный день в году, а особенно с человеком африканской крови, когда солнце подступает ближе всего к тебе, на расстояние косога взгляда, может быть, и был то солнечный удар? Мыслям и поискам моим не было конца, как и сердцу — успокоения.

Тем жарким летом, когда пьяного Ельцина нашли с букетом цветов в загородной канаве, я в первый раз забыл напроць о маме и перестал относить все происходящее со мной на этом свете и под этой землей на ее тяжелый счет.

Тем летом Глеб водил меня на закрытую премьеру какого-то модного фильма, и фильм этот начинался с того, что стильно одетый мужчина бежит сквозь болотистые заросли к железнодорожной насыпи, а одновременно с его бегом идет издалека люмьеровский поезд: все ближе, и громче, и тревожней. Бежит человек, и на ходу, иссекаясь о камыши, сбрасывает с себя то пиджак, то галстук, то ремень. А в поезде, в купе, ручка, только что выведившая в чьей-то руке послевоенную дату, падает на тетрадь и начинает кататься из стороны в сторону в такт поезду, берущему виражи. Мужчина, иссеченный до крови, раздет уже донага, и у самой насыпи, в подножном болоте начинает измазывать себя с ног до головы черной густой грязью. Несется навстречу поезд, качается из стороны в сторону ручка, а эта черная, как негр, фигура, сладострастно размазывающая грязь по голове, по шее, по спине, вдруг двумя дугами полусогнутых пальцев, будто раздвигая занавес, стирает, а то и сдирает липкую черную грязь с

двух век, и глаза его открываются навстречу поезду...

Стоит обнаженный черный человек, обмазанный с головы до ног грязью, и смотрит с поляны на грохочущий над ним поезд, в котором, как в колыбели, качается из стороны в сторону ручка...

Все перепуталось в моих мозгах, этот черный человек и я сам, грязь и слезы, поляна и “Полянка”, поезд и поезд, одно только осталось с того лета: ощущение обнаженности и неотвратимости. И ручке, катающейся из стороны в сторону, этого никогда не описать...

Литера восьмая

Станция метро “Менделеевская”

Ах, если бы я нашел свою Олесю (почему-то она мне казалась Олесей и никак иначе), я бы повенчался с ней через несколько лет на станции “Менделеевская”. Уж больно нравились мне там гирлянды фонарей, вылепленные в виде небывалых химических цепей, как будто свет есть производное этой химии, как будто распутав человеческую ДНК, возможно понять, откуда она, Олеся, мелькнула как тень, как призрак в моей жизни и оставила меня с неразрешимыми метакимическими уравнениями, наподобие: “Кирилл + Олеся =...” Чему бы неизвестному это ни было равно, но имена сопрягались, и в сопряжении двух имен я вел ее мысленно вдоль бесчисленного количества равных, а потому безопасных арок под гирляндами химического света. Из каждой арки медленно выплывали люди, которых я знал и не знал: женщины выходили с одной стороны, мужчины — с другой; в середине зала, чуть впереди нас, они кланялись друг дружке и, грациозно соединив руки, как в средневековом менуэте, поднимали их аркой над нашими головами. Ручеек этих людей не кончался, пока мы шли под гирляндами света, а там, где мы прошли, начинались вихревые пляски, и там, у алтарной глухой стены, упирающейся в массу московской глубинной земли, нас ждала моя покойная мама — Москва...

Станция метро “Цветной бульвар”

Так и жили мы мелочами жизни, не зная, что то был наш звездный русский час, что звезда эта теперь сорвалась и летела по ночному небу, чтобы чиркнуть по атмосфере и сгореть навсегда. А тогда — тогда все пытались стать русскими: и украинец Саша Бутовец, и еврей Дениска Абрамов, и татарка Ната Буслаева, и цыган Ромик Гимранов, да и я сам неизвестно каких африканско-сибирских кровей.

Но уже сидели на площади перед гостиницей “Россия”, разбив свой палаточный городок, узбеки Узгена, порезанные кыргызами с окрестных гор, как раньше сидели турки-месхетинцы, выжженные из Ферганы теми самыми узбеками, как сидели армяне Сумгаита, азербайджанцы Шуши, абхазы и грузины, литовцы и латыши.

Вдруг все перестали быть русскими, и даже евреи — друзья моей мамы — стали звонить запоздало, чтобы сообщить о своем отъезде в Израиль... Всем им, от первого и до последнего, было куда податься, но куда было деваться мне, тому, кто не хотел отречься от самой капелюшечности своей соборной, сборной русскости?!

Это тогда Кирса с Ванькой Кореновским создали какой-то русский отряд особого назначения, и, поскольку я вымахал за тот год на голову выше Ваньки и на полголовы выше Кирсы, оба стали зазывать меня в свой отряд, чтобы мочить черножопых. Когда я захопал глазами перед такой откровенностью, Ванька поправился: “Я имею в виду чурок и зверьков, не

таких, как ты!” И добавил: “Ты-то наш!” Но я в тот отряд не пошел, нет, не из-за трусости или неловкости, просто, в тот год Глеб окончательно спился и ЖЭК опечатал квартиру, за которую он не платил уже три года — со времени смерти моей матери, а потому я был вынужден поселиться у Ирины Родионовны.

У нее уже жили трое племянников, перевезенных с беспокойного Кавказа, когда их отец — брат старушки был застрелен. Старший из них только что ушел в армию, так что Ирина Родионовна заполнила его пустующую кровать мной. Старшему из оставшихся племянников — Руслану было лет семнадцать, а младший — Аким был почти что моим ровесником. Ирина Родионовна устроила Руслана в ГПТУ, Аким же учился в той же школе, куда с помощью Назаровского красного удостоверения Ирина Родионовна устроила меня, правда, учился он в параллельном классе.

Каждый вечер, когда мы съедали ужин, приготовленный добрейшей Ириной Родионовной, Руслан запирался с Акимом в нашей общей комнате и начинал проверять его уроки. Каждый вечер он находил, к чему придраться, и методично избивал брата, затыкая при этом ему рот ладонью. Руслан был толстый и неуклюжий, Аким за глаза называл его “бочкой”, и потому все, что Руслан ни испытал на своих кавказских жестоких улицах, он вымещал на Акиме: и апперкот, и ребром по почкам, и коленкой в лицо.

Однажды, когда я оказался в этой комнате пыток с Акимом и попытался было заступиться, Руслан гневно отшвырнул меня и вежливо, на “вы”, прошипел: “А вы, негр, не вмешивайтесь в чужие дела!”

Руслан избивал Акима каждый вечер, правда, не оставляя никаких синяков и следов. Ирина Родионовна знала об этих избиениях, но по мягкотелости и московской интеллигентности не могла вмешаться, считая, что кавказская дурная кровь их покойной матери да недавняя психологическая травма виноваты в подобном поведении братьев. И тогда я решил сам отыскать Кирсу с Ванькой Кореновским, чтобы отомстить Руслану за Акима.

Встретились мы с Ванькой, Кирсой и еще пятком их ребят, среди которых тон задавали, как водится, самые русские — хохол Сашка Бутовец, татарин Борька Амиров и цыган Ромик Гимранов — на станции “Цветной бульвар”, под массивными горбатыми колоннами, вышли наверх, обогнули цирк, завернули на маленький базарчик, и там, где кавказцы и среднеазиаты продавали свои сухофрукты, я показал на забегаловку и вручил Ваньке гэпэтэушную фотку Руслана.

Руслана измолотили в тот день, как “черножопого”, по полной программе. Я стоял на Цветном бульваре, и меня радостно покалывало чувство отмщения, но одновременно грызло ощущение какой-то пакости, которую я натворил. Отряд давно уехал, а я все стоял с дырой раскаяния в сердце, не зная, куда теперь ехать — не к Руслану же с Акимом. Ах, если б я знал тогда, что Руслан теперь станет бить Акима еще безжалостней, да к тому же приговаривать: “Вот тебе, черножопый! Будешь знать, как здесь жить!”

Наступало кровавое время...

Литера девятая

Станция метро “Октябрьская”-кольцевая

Как обманчив язык! Скажешь: станция “Октябрьская”, и никто не подумает об этой станции, как подумал бы об “Августовской” или “Майской”. Как далеко ушло слово от своего первоначального значения! Иначе станция была бы палевой, как палые листья, трещины от

дождевых ручейков бежали бы по ее стенам, ветер, что подымается от поездов, уносил бы с собой людей наподобие вихрящейся листвы, но еще и горечь, и ощущение предстоящей долгой зимы, что страшнее самой зимы, должны были бы носиться по этой станции, уходящей обеими концами в зябкую, неуютную темноту.

Такой я видел эту станцию в октябре 1991 года, подумав впервые, что та девочка без портфеля, ранца или футляра со скрипкой, которую я решил назвать Олесей, была, наверное, цыганкой...

Так уж случилось, что я считал лишь свою жизнь выбитой из колеи, несбалансированной, ненормальной с самого начала. И ни за что бы не поверил, что есть хотя бы еще одна семья, столь же неполноценная, неправильная, ненормальная, как моя. Хорошо бы, подумал я, если бы Олеся и вправду была цыганкой. Тогда не пришлось бы мне ей сочинять всякие неподобающие и труднообразимые обстоятельства жизни.

А так, думал я, перешагивая через октябрьские лужи моей станции, эти обстоятельства у меня перед глазами. Обстоятельства моей мамы, Москвы: ее собственная мать, моя сибирская бабушка, запирающая свою четырехлетнюю дочь дома на долгий целый день, обрекая играть до бесконечности со своей единственной куклой, у которой нет уже ни рук, ни ног; скука... Девочка в конце концов умудряется через окно убежать на улицу, к другим детям, они бегут в магазин за сладостями; речка по дороге в магазин — с трубой поодаль от моста; подружка, как канатоходка, идет по трубе и зовет девочку делать то же самое; девочка доходит до середины трубы, и девочка летит в воду; вдруг ниоткуда появляется старик и вытаскивает ее из речки, а подружки разбежались от страху; появляется и мать, рыдающая, ей навстречу и вдруг, вместо объятий, начинает хлестать при всех тоненьким прутиком, высекающим кровь...

А что если Олеся и есть эта девочка годы спустя? А что если Олеся — это мама годы и годы назад? И нет никакой Олеси, как нету теперь и мамы — один октябрьский ветер, что носится по станции, закручивая в себя обрывки мокрых газет, а я стою, опершись о колонну, то ли в конце, а то ли в начале своего одинокого пути?

Станция метро “Добрынинская”

Странно, но при всей внешней неустроенности моей жизни, при вечной смене школ и адресов, я продолжал учиться на отлично, и комплекс отличника никак не оставлял меня. А еще дома у Ирины Родионовны, когда монстр Руслан избивал каждый вечер Акима, приводя теперь в пример меня, дескать, смотри, даже черные негры могут учиться на отлично, а ты — чурка, хер знает чем занимаешься! — дома мне и впрямь уж так не хотелось быть отличником, но на завтра в школе я опять забывался и опять погружался в книги, занятия, репетиции.

Странные вещи происходили с учителями в те годы: видать, гласность пробудила жар экспериментаторства, и они стали опробовать на нас свои затаенные взгляды безо всяких консультаций с вышестоящими педагогическими организациями. Один из них — наш преподаватель географии Николай Иванович Бурмистров — урок о человеческих расах начал с того, что стал пофамильно, просто по классному журналу, называть нам наши расы. Причем не кондово, по учебнику, а вполне развернуто, назвав, например, Матвея Словейчика и Борю Зеленера представителями семитского подвида средиземноморского подкласса индоевропейской белой расы. Славку Мальцева он сделал представителем арийско-славянской ветви той же расы, что тоже противоречило утверждениям учебника по географии, поскольку волосы у него стояли торчком, а нос занимал пол-лица. Но с самым большим смаком Николай Иванович разьяснял мою расу — как помесь дравидско-африканской с азиатско-монголоидной. Он ощупывал мои волосы и диктовал классу под запись: “Волосы — круто-курчавые, жесткие,

как правило, черного или темного цвета”. Затем он проводил пальцем по моему лицу и продолжал: “Кожа отличается предельно темным цветом, иногда повышенной потливости, отдает влажным блеском...”

Столь же методично он обошелся и с азиатско-монголоидной составляющей моей расы, показывая ручкой вместо указки на раскосую форму моих глаз с так называемым “эпикантусом” на месте век, а также широкоскулость, придающую лицу общую треугольную форму... “Записали?” — спрашивал он и после этого, держа меня у доски, отвечал на вопросы моих одноклассников, попросту тянувших время. Галя Балугева, умничая, спросила: почему же тогда у большинства русских в ее семье, да и здесь в классе, лица тяготеют к треугольной форме? Николай Иванович пустился в долгие и сложные рассуждения об истории русского этноса, при этом постоянно демонстрируя на мне и на моих вспотевших скулах, в чем разница между монголоидной и славянской скуластостью, хотя я-то как раз унаследовал скуластость в равной мере и от русского в тридцатом колене полковника Ржевского, и от своей бабушки-хакаски. Крымский татарин Сашка Ахтемов, у которого были такие же кудрявые волосы, как у меня, спросил: “Если у белой расы волнистые волосы, не значит ли это, что и негры когда-то были белыми?” Николай Иванович хотел было поставить нас рядом на предмет выяснения разницы между курчавостью, кудрявостью и волнистостью, но тут прозвенел звонок и кончилась моя роль географического манекена.

После уроков, когда четверо из нас побежали на “Добрынинскую”, там, в среднем зале у барельефов с животными, Сашка Ахтемов вдруг заговорил голосом Николая Ивановича: “А теперь посмотрите на этого барана. У него глаза умно-собачьи. Но если вы внимательно приглядитесь вот к этой свинье, вы увидите, что оскал у нее, как у шакала или волка — хищный! Но почему-то я не вижу здесь осла... Ась! Что вы сказали?” И опять на самом интересном месте, как прозвеневший звонок, подошел их поезд, и они со смехом ринулись под низкую арку.

Я остался один, поскольку мне было ехать в обратную сторону. Поезда не было, и я пошел в самый конец зала, где за явно несимметричным парпетом тускло посверкивало панно с изображением моей мамы и меня самого в том возрасте, когда я ходил еще в детский сад. Она сидела, подоткнув ноги под себя, и придерживала меня одной рукой, а я пускал самолеты и ракеты в воздух, собранный из голубой мозаики. В этом был вымысел художника. На самом деле мама купила мне в “Детском мире” летающего механического голубя. Я пускал его по комнате, он хлопал крыльями и кружился по воздуху, пока внезапно не ударился о голую лампочку, которая вспыхнула и погасла. И вместе с упавшим на нас голубем рухнула долгая тьма...

Станция метро “Павелецкая”

Экспериментировал не только учитель географии. Учитель литературы Ярослав Евстигнеевич решил поставить с нами спектакль по мотивам русских народных сказок в его собственной обработке. Действие происходило почему-то на станции “Павелецкая”-кольцевая, что находилась не так далеко от нашей школы и где рядом с выходом в Бахрушинский переулок жил сам Ярослав Евстигнеевич. В сопровождение школьного столояра дяди Мити я три раза ходил на эту станцию и делал наброски на ватманских листах, потом по этим наброскам наш класс стал готовить декорации станции на уроках труда. Решили обойтись минимумом: два классических пилона с негреческими узорами на них, проход между ними, якобы на платформу, и парпет к лестнице, уходящей со сцены вниз, — вот и вся декорация.

Теперь о сказке сказок Ярослава Евстигнеевича. Давным-давно жили на свете Белый Бог —

Даждьбог и его жена — черноокая Мара. Жили, не тужили. Но однажды случилось так, что повстречала Мара в овраге Чернобога — Кощя Змеевича — бога подземного царства и влюбилась в него. Забрал ее Чернобог в свое подземное царство — за реку Смородину, за Калинов мост. Узнав о краже, светлый бог — Даждьбог бросился за ними в погоню, но там, у Калинова моста, где произошла битва, когда то Кощей, то Даждьбог вминали друг друга то по колено, то по пояс, то по горло в матушку-землю, Чернобог с помощью Мары победил Светлобога и разрушил его солнечную колесницу, на которой тот примчался к границе двух миров. Распял тогда Чернобог Даждьбога на огромном дереве у реки Смородины, у Калинова моста, и тьма обрушилась на всю землю.

После антракта действие начиналось весьма неожиданно. Кони той колесницы, что осталась без возницы, как поезда метро, понеслись по обеим сторонам, и быть бы беде неминуемой, но тут вмешивался в дело сам Ярослав Евстигнеевич в роли Велеса-вседержителя, что воскрешал Белобога, сняв его с дерева, излечивал его раны, следом вылавливал солнечных коней, разбежавшихся по сумеречным углам (правда, в суматохе терялся серый конь, которого играл Серега Серов, зато оставались конь черный и конь белый, обозначающие ночь и день). Даждьбог снова правил своей светлой станцией “Павелецкая”, на которую снова подали свет, и поезда ходили регулярно. Зато, наказанные на веки вечные самим Велесом, Чернобог и Мара уходили вниз по лестнице в еще более подземный мир, и перед ними краснела земля...

Вы конечно же догадались, что Ярослав Евстигнеевич дал мне роль Чернобога — Кощя Змеевича, правда, дал не сразу, долго думая, а не лучше ли мне сыграть коня из колесницы Даждьбога. Но Галя Балуюева, игравшая черноокою Мару, уговорила Ярослава Евстигнеевича, нажимая на то, что я отличник и что на мне можно сэкономить краску. Больше всего хлопот нам доставила битва у реки Смородины, у Калинова моста, когда мы поочередно со Славкой Мальцевым должны были всаживать друг друга в землю то по колено, то по пояс, то по горло в бою за Галеньку Балуюеву, в которую Славка был влюблен по-настоящему, а я не испытывал никаких чувств, кроме отличничьей солидарности. В конце концов мы решили эту сцену так: на нас обоих сшили по две землистого цвета простыни с дырками посередине, охваченными обручами. Пока боролись, мы старались всадить друг друга в эти обручи, которые каждый резко поднимал то до колен, то до пояса, а то — до горла, опускаясь при этом под простыней на колени. Этот трюк мы отработали настолько, что Ирина Родионовна, пришедшая на спектакль в качестве родителя, никак не могла взять в толк, как это нам удалось. А загробный авторский голос Ярослава Евстигнеевича декламировал:

Выплывал ево добрый конь
на крутые береги,
прибегал ево добрый конь
к отцу ево и матери,
на луке на седельных
ерлычок написанной:
“Утонул добрый молодец
во Москве-реке, во Смородине!”

Все было хорошо и весело в этом литературном эксперименте, кроме долгих и занудных объяснений славного Евстигнеевича о Прави, Яви и Нави, о битве в сердце каждого из нас между Белобогом и Чернобогом, о попанной и восстановленной Велесом, а стало быть, им самим, гармонии в мире. Но при чем была тут станция “Павелецкая” и при чем была тут восстановленная на ней гармония, если отныне всякий раз, когда оказывался на этой станции, я никак не мог избавиться от видения Славки Мальцева, то распятого понарошке на одном из цветистых пилонов станции, то подвешенного к потолку, как древоподобная лампа? И я

чувствовал себя виноватым, что увел у него черноокую Галеньку Балуюеву за реку Смородину, за Калинов мост, сам ее несколько не любя.

... Однажды, родственники Ирины Родионовны прислали ей поездом из Днепропетровска ощипанного гуся и бутылку подсолнечного масла на Курский вокзал. Ирина Родионовна принимала в тот день особо сложные роды, а потому на Курский вокзал поехал после школы я. Как и было уговорено, у табло днепропетровичи легко отыскали меня, черного: “Глядь, как корка перекопченного сала!” — носилась надо мной по-матерински днепропетровна; она же передала мне сумку, и я пошел с вокзала на станцию “Курская”, но вместо того, чтобы ехать прямо домой, остановился под шляпкой циклопической центральной колонны, и на меня посыпались мои демоны, или, скорее, бесенята... Я стал медленно кружить вокруг этой грибоподобной колонны. Последние пассажиры, скорее всего, с днепропетровского поезда тащили свои баулы и чемоданы. Несколько москвичей (только москвичи могут назначать свидание под этим грибом) стояли поодаль со скучным видом привычно ожидающих мужей. Дюжина-другая оборотов, и никого в зале не осталось. Я глянул в сторону лестницы — ни души, в сторону эскалаторов — журчащая тишина. Кровь стала толчками биться мне в висок, я лихорадочно думал, что бы мне сделать в этой пустоте такого?

Вытащить гуся и распять на колонне мясистым гербом? Полить красный и серый гранит пола ровным слоем подсолнечного масла? Обоссать, обосрать, измазать все кровью? Чего еще требовали, к чему взывали мои гудящие бесы одиночества? И вдруг среди моего судорожного одиночества бог весть откуда появился черный человек, да, да, такой же негр, как и я, правда, взрослый, и одетый по высшему классу, я бы сказал, в цилиндре, но моя растерянность смазала эту деталь. Он процокал стороной, пока я, как заведенный, медленно, по инерции все шел и шел вокруг ядовитой поганки-колонны, мне показалось, он подмигнул, но уж точно — улыбнулся и исчез за грибом, скрывавшим лестницу, ведущую наверх...

Это разомкнуло мое короткое замыкание, цокая каблуками, как он, я двинулся в сторону совсем пустого эскалатора. И все же на эскалаторе одиночество легче: поднимаясь наверх, ты воображаешь себя альпинистом, спускаясь вниз — прыгуном с трамплина — лишь бы никто не отвлек и не пересек дорогу...

Внизу, у самого входа, где по двум бокам пустовали две ниши от бывших светильников, я как запрограммированный встал на один из постаментов вместе со своим днепропетровским гусем и подсолнечным маслом и вопреки бесам вообразил напротив, в такой же нише, на таком же постсветильном постаменте, того черного человека в цилиндре. Будь моя воля, я бы поставил в обоих углублениях памятники двум черным человекам, увидевшим друг друга в пустом московском метро...

Станция метро “Комсомольская”-кольцевая

Но что то живое одиночество по сравнению с моим нынешним, когда и на постыдное-то дело и то тела не оставили, когда лежу я в сырой земле и жду чего-нибудь яркого, как предписано книгой мертвых? И все, что ни вертится перед пустыми глазницами белого черепа, — тускло и вязко. Что же яркое может спасти мою душу? Что может вытащить ее из вечного коловращения, идущего против часовой стрелки? Где этот пронзительный свет мысли, события, воспоминания?! Яркий, наподобие моей первой любви, первого обмана, первого разочарования — станции метро “Комсомольская”, на которой я раз за разом ищу свою первоизданную невинность, свое первобытное счастье, свой первоисточный свет...

Опять и опять я приближаюсь к шусевскому наземному вестибюлю, построенному вроде мавзолея моим поискам, как жрец, спускаюсь медленно и верно в подземный зал; так

первопроходцы египетских пирамид, а может быть, и сами фараоны спускались в скрытые от земных глаз залы своего вечного успокоения, иду тем поздним часом, когда поезда редки, а люди — одиноки и боязливы, ступаю, отмеривая каждый гулкий шаг, оглядывая самые мелкие детали идеально размеренных колонн из светлого газганского мрамора, провожу взглядом по плавному своду потолка со смальтовым панно: вот он — на белом коне — Александр Невский, от которого происходит наш русский род Ржевских, вот Дмитрий Донской — тоже один из нас; я умеряю шаги, чтобы запомнить навсегда дном своего глазного яблока лепные барельефы, каждый гипсовый листочек их, каждый цветок.

Затем тележное колесо очередной люстры — на таких мои предки покоряли Сибирь, совершая обратный Чингисхану путь, от которого они-то и унаследовали эту страсть к дорогам и завоеваниям. Светят огни истории, и я иду дальше и дальше, к Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому, к тонкому Александру Суворову, к одноглазому Михайле Кутузову. Маленькая струйка крови достигает моего сердца и холодит его, и разрывает, как будто четверти сердца — одной из камер, куда влилась эта струйка, — становится тесно, ей хочется большего, большего, всего этого зала, где день и ночь не кончает своей мозаичной речи хакасовидный Ленин, где годы и годы мой дед — полковник Ржевский блюдет свой флаг у рейхстага...

В день августовского путча мы приехали с Глебом на поезде с юга. Еще в Рязани мы узнали, что Горбачев — в Форосе, а вся власть перешла к ГКЧП. Глеб стал срочно рыться в своей телефонной книжке — ставя крестики напротив тех, кого могли уже арестовать. Он отдал мне эту книжку и стал инструктировать на случай его ареста. Впервые в своей нелепой жизни он готовился к настоящим застенкам и настоящим событиям. На Казанском вокзале мы увидели шеренги солдат. Бронетехника, каски... Устрашающая картина. Однако была в ней и некая карикатурность, но я понял это время спустя. Вокзал между тем продолжал жить своей обычной бестолковой жизнью: толпились транзитники, сновали грузчики — поголовно татары, штрафовала по поводу и без powodu милиция, и шумели на весь зал буфетчицы.

В одном углу, чтобы оглядеться, мы остановились у автомата, который, стоило сунуть купюру и набрать день своего рождения, тут же выдавал достоверную информацию о всех твоих предыдущих жизнях, и Глеб за десятку узнал, что в прошлой жизни он был нивхом — изготовителем ядов. “Тебя смотреть не будем, знамо — Пушкин”, — сказал он, и мы с облегчением пошли дальше.

Тем не менее в метро мы спускались с опаской, и там случилось то, что осталось во мне, быть может, как самое главное событие эпохи: не знаю, из-за перехлынувшей ли толпы новоприбывших, или из-за задержки поездов метро на другой станции, то ли еще из-за чего, но вдруг на весь копошащийся зал репродуктор объявил: “Граждане пассажиры! Станция “Комсомольская”-кольцевая срочно закрывается на вход и на выход! Соблюдайте порядок и дисциплину! Повторяю: станция “Комсомольская”-кольцевая срочно закрывается на вход и на выход! Соблюдайте порядок и дисциплину!” И так несколько раз...

Народ застыл... Все смотрели куда-то вверх, в сторону смальтовых воинов в железных доспехах, с копьями в три человеческих роста, откуда все это и донеслось... Страх пронесся над толпой, захватывая нас. Во мне жило много образов моего московского метро, но сейчас, отвыкнув от него за месяц безмятежного отдыха и очутившись в запуганной насмерть толпе, я вдруг понял, что никогда так и не узнаю всех его ликов: мог ли я предположить в самом диком воображении, что метро может стать в одночасье самой большой тюрьмой.

Приказал ли ГКЧП запереть нас всех на засовы, предусмотренные на случай ядерной атаки, или гражданская оборона, пользуясь моментом, решила отработать сценарий, максимально приближенный к боевым условиям, или милиция и впрямь решила разом всех нас арестовать и просеивать следом по одному — как бы то ни было, но растерянности страха не мог развеять ни

гарцующий на белом коне мой славный предок Александр Невский, ни извечно машущий фуражкой лысый и картавый Ленин...

В конце концов нас всех увезли поездами в темноту, и станция за нами осталась пустой...

Станция метро “Проспект Мира”

Следующий день я провел у Белого дома. Не то чтобы воевал за демократию — кто бы мне дал заниматься этим? — просто смотрел на все, что происходило там, на площади. Знаете, господа, а ведь Пушкин с его обостренным пустынным нюхом был ой как прав: русский дух и вправду пахнет! Я не участвовал в Октябрьской революции, но подозреваю, что ее запах мне знаком, он витал в тот день и над площадью перед Белым домом, где кто-то тащил урну на баррикаду, кто-то кричал: “Леха, давай, подгоняй грузовик — столб своротим!”, кто-то готовил трибуну пламенному Ельцину. А этот дух, остро отдающий водочным угаром и мочой, быстрее всяких приказов заполнил площадь, на которую все стекался и стекался вольный и вольнолюбивый народ.

Там, на Калининском мосту, я встретил и Назара, сменившего по новым временам свою серую ментовскую форму на длинный, чуть ли не до пят, плащ предпринимателя — теперь он занимался недвижимостью на Арбате, перепродавая то, что раньше предназначалось на снос.

Я вернулся с ним на площадь, где уже кидал свою речь пламенный Ельцин. Где-то на ее середине Назар вдруг взглянул на свои “Ролексы” и сказал, что ему нужно срочно ехать на “Проспект Мира” на деловую встречу. “Поехали со мной! — предложил он. — Будешь учиться предпринимательству!”

Оставив вольные запахи путча за спиной, мы приехали на “Проспект Мира” и, нырнув в арку одного из лицевых домов, оказались во дворе с несколькими домами попроще. Здесь ни путчем, ни демократической революцией не отдавало, здесь стоял запах гари, замешенный на оседающих выхлопных газах, да робкая свежесть московских дворовых деревьев. Назар отыскал нужный ему подъезд, мы вошли в громоздкий железный лифт, неожиданно плавно поднялись на нужный этаж и оказались у железной двери с глазком.

Дверь открыла миловидная женщина наверняка средиземноморской породы русских — столь курчава была ее голова. Она пригласила нас к себе, Назар кивнул в мою сторону: “Он со мной!” Я чувствовал, что меня она испугалась больше, чем Назара, хотя виду не подала. Женщина предложила нам чаю, и когда Назар по-светски предложил ей беседу на тему путча, женщина смущенно сказала, что плохо разбирается в политике, и предложила пройти на кухню.

Мы сидели, пили чай с клубничным вареньем, и я не совсем улавливал, в чем заключался бизнес-смысл этой встречи. А может быть, думал я, про бизнес Назар сказал для отвода глаз и сидим мы просто у очередной его пассии? Но тогда зачем ему было брать меня с собой, к тому же эта женщина, по имени Иннеса, мало похожа на назаровскую добычу...

Неторопливое чаепитие, конечно, не вполне вписывалось в контекст того исторического дня. Но мы пили чай, а Иннеса доверчиво рассказывала о том, что выпросила на год у своих знакомых французов десять тысяч франков и купила себе еще одну квартиру по соседству, которую она теперь сдает иностранцам, и уже расплатилась со своими друзьями-французами... А сейчас, когда постояльцы заплатят еще за год вперед, я хочу подкупить еще одну квартиру, — делилась она с нами своим заветным. — И вы, Назар, должны мне в этом помочь...

А может, это и есть их бизнес, думал я, восторгаясь изящной простоте женского ума, делающего из ничего себе состояние, и продолжал — чашку за чашкой — пить чай на кухне уютной сталинской квартиры.

Здесь же по телевизору мы увидели знаменитую пресс-конференцию, на которой у Янаева

тряслись руки, но все это было мимоходом: бытовая ворожба Иннесы, ее чай, ее уют, ее рассказы — выветрили всякую тревогу из сердца и из головы, и уже выйдя от нее поздним вечером на станцию “Проспект Мира”, я посадил Назара на радиальный поезд в сторону его дома на Арбате, а сам остался на кольцевой, где ходил и любовался теперь уже другой сталинской квартирой — огромной, коммунальной, принадлежащей в том числе и мне: ее высокими потолками, мраморно-лепными барельефами — то мама, склонившаяся на колени перед дочкой, а между ними горшок цветов, то мать с сыном, собирающие фрукты с ветвей, а то и вовсе бездетная мама — весовщица, отмеряющая кому грехи, а кому — благие дела...

Так и ходил я по своей коммунальной сталинской квартире в ночном ожидании того, кто выставит меня отсюда ...

Станция метро “Краснопресненская”

Лежу и думаю, когда бы гробовщик Адриан собрал нас всех на именины... Ох, собирается бесовщина, чую, собирается! Оттого кружится голова, как на карусели, оттого одни сполохи, эпифании, фрагменты... Проходил я раз на станцию “Краснопресненская”, возвращаясь из барачных корпусов на берегу Москвы-реки, где Назар скупал по дешевке недвижимость, предназначенную на слом, и прямо у дружинника — памятника перед самой ротондой станции — увидел старика, сидящего на растеленном наземь платке. Был он то ли таджиком, то ли узбеком, судя по-арбузно-полосатому халату, белой чалме и седой бороде, и перед ним лежали то ли кости, то ли четки. Где-то я видел этого старика или мама мне рассказывала о нем. Что-то смутно проснулось во мне на мгновение и уснуло опять...

Я подумал, что он — попрошайка, и, как учила меня покойная мама, сунул руку в карман, где вместе с тремя десятками, что дал мне щедрый богатеющий Назар, была еще всякая мелочь. Сгрел ее со дна кармана и бросил старику на платок. Я уже было нырнул в дверь ротонды, когда старик грозно окликнул меня: “Мбобо!”, — или я так услышал с испугу, но было ясно, что голос его выудил из толпы именно меня и какой-то неведомой силой вернул к подножию монумента. И только теперь я заметил, как космат этот старик, напомнивший мне опять кого-то очень знакомого, но я опять не мог разобраться, кого же именно... “Я не нищий, — сказал он и указал на другую сторону ротонды, где сидела цыганка с ребенком. — Подай ей!” — и протянул мне мою постыдную мелочь. Он еще что-то прошептал и поплевал на свои ладони, а я, растерянный — то ли отдавать ему десятку, то ли идти с грошовой мелочью к цыганке с ребенком, — не знал, как поступить... Но и на месте не мог стоять, чужая, как горит мое лицо от позора И я ринулся под землю. Каждый факел на эскалаторе высвечивал меня, каждая лампа на потолке подмигивала, каждый барельеф корчился и изображал сцену падения.

В тот день у меня поднялся небывалый жар, добрая Ирина Родионовна вызвала “скорую”, и с испугу Руслан впервые не избил Акима. Смутно и тускло помню запах спирта от врача “скорой” и что меня рвало и рвало. Меня увезли в клинику, где ночью мне снился косматый Эрлик...

Это потом, когда я выздоровел и выписался из больницы, Ирина Родионовна рассказала мне, что Назар, оказывается, продал в тот день опечатанную квартиру Глеба, оставив пьянчужку бездомным. Так вот чем объяснялась его безумная щедрость ...

Станция метро “Киевская”-кольцевая

Но откуда знал об этом старик, что проклял меня на ту последнюю болезнь? По начитанности я знал и об индийских йогах, и тибетских монахах, о сибирских шаманах и

среднеазиатских суфиях. Я знал, что есть ступени восхождения, которые они называют разными словами, но, между прочим, и станциями. Я знал, что в их духовной практике есть упражнение, метод или аскеза ухода под землю — для смирения своей плоти, для очищения своего духа. “Умри вперед смерти своей!” — так звучит этот обет, могущий длиться день, неделю, месяц, сорок дней, годы, всю жизнь... Может быть, и я, сам того не понимая, об этом же? И не надо мне смотреть ни на изразцы и мозаику, люстры и пилоны. Может быть, это все нарочно, для отвлечения непосвященных? Поднимитесь, скажу я теперь, на эту станцию и оглядитесь по сторонам, но, главное, загляните поглубже внутрь себя самого! Видите?

Станция метро “Парк культуры”-кольцевая

Пришла весна в подземный мир. Запоздало, но пришла. Сначала иглы льдинок растаяли, и земля задышала сыростью и теплом, потом корни набухли и вдруг пошли в рост, раздвигая наши сочленения и кости. Червь занес семечко в мою глазницу, и оно поползло росточком кверху, а корешки стали располагаться по конусу, испытывая то тут, то там череп на цельность... По соседству закопошились муравьи-мигранты, пошли пехом на сезонные работы, оставляя в темной земле свою женскую половину да детвору до поры до времени. Это здесь-то такая буйная весна, а что происходит на земле — и вовсе не представить!

Но в тот год в Москве стояла постоянная осень. В один из серых, ненастных дней, когда у Ирины Родионовны разыгрался нещадный ревматизм и она не могла встать с места, несмотря даже на массаж, который делали поочередно то я, то Аким, позвонил по телефону Назар и попросил меня подъехать на метро “Парк культуры”, дескать, есть срочное дело. Назар теперь часто брал меня с собой на всякие деловые встречи, но поскольку он стал теперь выдавать мне при встречах не тридцать рублей, а столько же баксов, то мне не было резона отказываться.

Человек быстро забывает о проклятиях, не правда ли? Тем более, живые деньги, тем более, по тем временам... так что я оставил Ирину Родионовну на попечение Акима, солидно, тоном добытчика объяснив, куда и зачем ухожу, и поехал на “Парк культуры”. Там, в тесноте банного зала под шахматистами, я отыскал экс-проклятого Назара, и он “дал мне вводную”: “В парке нас ждет Глеб с двумя такими же охломонами, как и он сам, и эти охломоны хотят продать не только свои ваучеры, но, видать, и квартиры...”

Мы вышли наверх, прошли под свищущими ветрами в парк культуры, отыскали глухое кафе, где Назара ждал бездомный Глеб со товарищи весьма артистического вида (Розенкранц и Гильденстерн, подумал я механически). Но что неприятно поразило меня — даже не то, что от Глеба пахло мочой и заношенной до бомжества одеждой, а то, что он совсем не обрадовался моему появлению, напротив, был неприятно поражен и даже, казалось, напуган. “Малыш, а ты зачем тут?..” — растерянно произнес он, но потом махнул рукой и пригласил нас к столу.

На столе уже стояла выпивка и кое-какая закуска, и это так горько напомнило мне время, когда мама была жива и была с Глебом, что я был готов и простить, и пожалеть... Начали с выпивки за знакомство. Я от безделья сидел и молот зубами жесткие сушки, рассыпанные по столу вперемешку с кусками колбасы, луком и бородинским хлебом. Как оказалось, друзья Глеба действительно были актерами, и мне смутно казалось, что я их где-то давным-давно видел. Они шумно поднимали тосты то за Глеба, познакомившего их с Назаром — “человеком нового разлива”, то за самого Назара, а потом и за меня, что “увидит новую Россию”. Один из них патетически процитировал Пушкина по этому случаю:

Несчастью верная сестра —
Надежда в мрачном подземелье
Разбудит бодрость и веселье,

Придет желанная пора —
Оковы тяжкие падут,
Темницы рухнут, и свобода
Вас примет радостно у входа,
И братья меч вам отдадут!

При этом он деланно протянул мне огромный столовый нож, которым только что нарезал докторскую колбасу. Я положил нож обратно на стол, нацепив на него одну из сушек.

За этими тостами и разговорами о ваучерах и квартирах они уговорили две бутылки, что стояли на столе. Назара порядком развезло, он обещал артистам вложить их ваучеры в некий “Довгань-хлеб”, что будет приносить тем нескончаемые доходы, покуда всякий рот ест хлеб насыщенный. Глеб предложил выпить за хлеб насыщенный и достал бутылку самогона из некоего подобия портфеля, в котором все свое носил с собой. “Хлеб наш насыщенный даждь нам днесь!” — святотатствовал он, предлагая тост за Назара, с кем “делил самое последнее и даже самое любимое...” Я сидел, и меня все сильнее охватывало раздражение — и на эту пьянь, и на хвастовство, и на бессмыслицу.

Не дожидаясь остальных, Назар хлобыстнул свой стакан. Но не успел он его отставить, как внезапно схватился за горло и на глазах стал зеленеть, лиловеть, синеть... Сначала я подумал, что он опять бравирует, неловко и глупо пытаюсь побить артистическую братию на их половине поля, но, так и не отпустив горла, он внезапно дернулся назад и грохнулся вместе со стулом...

Актеры вскочили первыми, стали трясти, один из них закричал хорошо поставленным голосом: “Скорую! Скорую!”, как кричал бы в театре “Карету ему! Карету!” Понабежали работники кафе, поднялась суматоха, но я как сейчас помню, что три стакана на столе стояли нетронутыми, а Глеб, тот Глеб, что гонялся за моей мамой с ножом, Глеб, что был изготовителем ядов в прошлой жизни, сидел, не шевелясь, держа в руках тот кухонный нож с сушкой, напыленной на острие, и его желваки ходили так, как они ходили в моем далеком и близком детстве...

Станция метро “Октябрьская”

Вот и свершился круг. И опять я на станции метро “Октябрьская”, забывшей свое имя, и опять дует сквозной ветер, как будто я демон, проклятый Богом за гордыню, и сослан в этот подземный храм замаливать свои и чужие грехи. Но на самом-то деле я приезжаю сюда как свидетель. Погибший Назар был офицером МВД со связями, и потому оперативники МВД взяли это дело под особый контроль, и меня допрашивают в присутствии больной Ирины Родионовны, которую эта жуткая история доканывает на глазах. А однажды нас ведут какими-то неведомыми коридорами и лестницами в глубокие подвалы КПЗ, где в каменной комнате с дверью при камерном глазке нас с Ириной Родионовной оставляют одних, прося не беспокоиться, но разве можно не беспокоиться в подвалах МВД, и я прислушиваюсь изо всех сил и слышу поезда... Жутко мне стало тогда, по другую сторону от метро, — в параллельном мире казематов и карцеров, и я прижался к скудному телу Ирины Родионовны, как будто от нее ожидая защиты.

Ввели Глеба, бледного и обросшего, но поскольку его отмыли от прежней вони и одели в тюремную робу, а еще потому, что он не пил все эти дни, Глеб вдруг опять обернулся дядь-Глебом, то ли разыгрывающим меня, то ли приглашающим в театр ... Но то была очная ставка. Меня спрашивали о том, как долго и каким я знал Глеба, как он вел себя в тот злополучный день в кафе, ревновал ли он маму к Назару, задавали еще много других вопросов, так, что они смешались в моей голове, но я помню, как резко прервал допрашивающий Глеба, когда тот со

слезами на глазах обратился ко мне: “Малыш, ты ведь знаешь меня, Расскажи...”

Я изо всех сил выгораживал его, вспоминал лишь самое светлое из нашей жизни: библиотеки и новогодние елки, Союз писателей и дома творчества. Глеб безудержно плакал от моих детских воспоминаний. Ни словом не обмолвился я ни о запоях, ни о дебошных ночах, ни о погонях с ножом за моей мамой, ни о кануне ее смерти...

И все же вскоре случился суд, где Глебу припаяли убийство по неосторожности и отправили по этапу во глубину сибирских руд...

Литера десятая

Станция метро “Тверская”

Все смешалось в доме Ирины Родионовны Облонской. Руслан, парень в расцвете сил, внезапно умер от перитонита, умер на операционном столе. Аким остался сиротливым и никому не нужным существом, а потому убежал из дому к какому-то из своих кавказских дядек. Ирина Родионовна мало того, что страдала от невыносимого ревматизма, подверглась у себя на квартире вооруженному нападению трех бандитов в масках, искавших доллары Назара. В тот день я задержался в школе, а когда вернулся, вся квартира была залита кровью, а полумертвую Ирину Родионовну соседи уже отправили на “скорой” в ее собственную Пироговскую больницу.

Весь остаток дня я оттирал со стен кровавые потеки, а ночью, вооружившись топориком и молотком, бессонно ожидал возвращения бандитов, но они не вернулись ни той ночью, ни следующим днем, ни позднее.

Все смешалось и вокруг: рушилась империя, отменялись старые деньги, назывались по-новому улицы, районы, города. Люди в одночасье стали другими. Кирса теперь правил одной из долгопрудненских банд, Ванька Кореновский был кем-то в молодежном крыле “Памяти”, глебовские друзья-актеры открывали с Боровым московскую биржу...

Но самое страшное — вдруг стали переименовывать станции моего метро! Это все равно, как внезапно называть руку хэндом, а ногу — жамбом. Я часто смотрелся теперь в зеркало и временами не узнавал самого себя. Не узнавали меня и другие. Вчерашние соседки-старушки, гладившие меня по курчавой голове, приохивая: “Ты наша сиротинушка...” — теперь в очереди за сухим молоком шпыняли меня по поводу и без повода: “Понаехали тут всякие черные!” В школе из отличников я скатился на “троечника”, смешно сказать, что забракованные мною самим чертежи, подобранные каким-нибудь Борькой Ключниковым, получали отличные оценки, а за те, что я чертил из кожи вон, мне ставили — на листе, испещренном красными ошибками, — жирную тройку.

Моя сибирская бабка вдруг нагрязнула на нашу квартиру на Большой Татарской, я думал, чтобы поухаживать за бедной Ириной Родионовной, где там! — приехала судиться за пенсию якобы для меня “по потере кормильца”. Месяц она ходила по всем инстанциям МВД, по собесам и нотариальным конторам — отнюдь не в Пироговку, где залечивала свои переломы бедная Ирина Родионовна. Отсудила ли — не берусь сказать, но исчезла так же без предупреждения, как и приехала, даже записки не оставила.

Да, и впрямь все смешалось в доме Облонских.

Мне это напоминало литературный анекдот, что любил рассказывать после того, как съездил в Европу в 88-м году. В той поездке он побывал в доме-музее Ивана Бунина в Граце и даже удостоился увидеть сертификат Нобелевской премии, коей, как известно, был награжден

Иван Александрович. Но каково было удивление Глеба, когда под сертификатом он увидел рисунок, изображающий человека, освещающего другим дорогу факелом своего сердца, да, да, рисунок, изображавший Данко, того самого Данко, которого можно увидеть на барельефе станции “Горьковская”, переименованной теперь в “Тверскую”. “Представляете, — говорил, напившись, Глеб, — дали-то Бунину, а подразумевали, небось, Горького... Горького, которого ненавидел Бунин! И жить с этим клеймом весь остаток жизни...”

Но я в своем все более обнажающемся одиночестве думал растерянно в другую сторону: “Пусть бы назвали тогда станцию “Бунинской”, что ли?!”

Станция метро “Театральная”

Ты меня хоть горшком назови, но в печку не ставь! Меня же не только ставили в печку, а еще и обжигали дочерна. Ох, проклял нас всех тот “учитель человечества” с “Краснопресненской”, проклял за нашу гордыню! Но я расскажу все по порядку, не теряя головы. На нашей лестничной клетке в однокомнатной квартире напротив жил бобылем человек лет шестидесяти, приятельствовавший с Ириной Родионовной. Именно этот человек каких-то полувосточных кровей (и имя его было подобающим: то ли Марат, то ли Мурат) раз в два дня навещал Ирину Родионовну в Пироговке, принося ей то авоську антоновских яблок, то горячий пирог домашней выпечки. Помимо братских отношений с Ириной Родионовной Марат или Мурат (Ирина Родионовна произносила его имя где-то посередине: Мрат) был знаменит еще тем, что страшно напоминал Горбачева, но напоминал не грубо, напрямую, а исподволь, подсознательно: где же я видел этого человека, ведь только что слышал эту интонацию, только что наблюдал эти жесты?.. Ах, да, так это же наш Михал Сергеич!

Он очень по-доброму относился и ко мне. Быть может, он был единственным в моей жизни посторонним человеком, что напрочь не замечал цвета моей кожи, и я, не находя других объяснений, подозревал в нем дальтоника. В те дни, когда моя сибирская бабка взяла на осаду Москву, я попросту пропадал у Мрата, помогая ему то печь лепешки в духовке, то варить наваристый борщ, какой любит наша Ирина Родионовна.

Несмотря на то, что чуть ли не всю жизнь он проработал всего-навсего бухгалтером в каком-то издательстве, Мрат был отменным рассказчиком, и не только рассказчиком, но и стилистом. Расскажет, как он почему-то редактировал “Холстомера” и находил ошибки у самого Толстого в описании сбури, и когда я размечтаюсь и скажу, что в будущем сниму фильм об Анне Карениной в метро, он улыбнется и ответит: “Ты, дружок, как равнинная корова, что задирает ногу на быка в горах...” — и мы оба расхохочемся, представляя себе эту раскоряченную корову...

Как-то он подарил мне книгу: “Владимир Набоков. Лолита”, а потом расспрашивал о моем впечатлении. “Жалко Лолиту”, — сказал я, потому что думал о своей Олесе. “А Гумберта?” — спросил он без улыбки. “И Гумберта тоже жалко”, — подумав, ответил я, потому что мне его действительно было жалко.

Однажды, когда мы возвращались от Ирины Родионовны, после ЦУМа, где он что-то купил, Мрат усадил меня в скверике рядом с собой на скамейку. “Давай, — он положил ногу на ногу и заговорщически обернулся ко мне, — рассмотрим окружающий нас прекрасный пол. Что сказал бы Гумберт, а? Они в общем-то грубы, эти женщины. Особенно та, с претензиями на красоту. Нажмешь на нее — и потечет, как из перезревшей дыни... А вот это — персик, чуточку, совсем чуточку недозревший. Но уже сладкий... Видишь, она еще не играет в женщину, почти не играет, чистая природа...”

Станция метро “Новокузнецкая”

Пока мы ехали с “Театральной” до нашей станции “Новокузнецкая”, в полупустом вагоне Мрат, склонившись к моему уху, продолжал анализировать женщин, сидящих напротив нас и чуть поодаль. Они, что-то почуяв, перехватывали наши взгляды и быстро становились пунцовыми от гнева, но только не нимфетка 14—15 лет, что охотно переглядывалась и со мной, и с Мратом, то поправляя челку, то одергивая платье. “По посадке той блондинки видно, насколько она неуверенна, и в то же время, чтобы скрыть эту неуверенность, она держится агрессивно... — шептал Мрат в мою щеку. — Смотри, как она резко одергивает воротник, как водит головой...”

Сейчас, думал я, он перекинется на девчонку и начнет... Но, к счастью, поезд оказался быстрее, и мы въехали на свою станцию, чем я незамедлительно воспользовался и встал...

Но на самой станции, под одной из мозаик Дейнеки, Мрату вздумалось завязывать свои расшнуровавшиеся кроссовки. Светильник выхватывал нимфетку, поднятую к небу мускулистыми спортсменами, и Мрат, расправившись со своими шнурками, вдруг сказал: “Хочешь, поделюсь с тобой страшным секретом?” И поскольку сквозь него вдруг проступил Горбачев, то я тут же согласился, как будто бы он должен был порекомендовать мне последние тайны Советского Союза... Мрат указал вдруг на дейнекинскую девчушку и чуть ли не прошептал: “У меня есть девочка-малолетка...”

Я думал, что достаточно хорошо изучил Мрата, видимо, именно в силу его обманчивой схожести с Горбачевым: ну какие там секреты у Михал Сергеича?! Ан нет! Мрат оказался человеком с двойным дном. Поначалу я насторожился: не разворачивает ли он меня, но он даже и не смотрел в мою сторону, и тогда я почуял, что мужику надо просто высказаться, как высказывались при мне в последние годы и Глеб, и Назар. Познакомился он с этой девчонкой случайно, она попросила его закурить. В сумерках он протянул ей сигарету прежде, чем обратил внимание на ее возраст, а протянув, стал игриво укорять: дескать, не рано ли курить в таком возрасте? Девочка хохотнула и сказала, что она и не то умеет. “А что еще?” — спросил Мрат с интересом. “Дай деньги, скажу!” — ответила девчонка и выпустила струйку дыма почти Мрату в лицо. “Ты знаешь, при мне денег нет, но... если поднимешься ко мне... могу и кофе угостить... и деньги, конечно, дать...”

Странно, но Мрат говорил со мной как с матерым психоаналитиком, проговаривая каждую мелочь этой встречи на улице, объясняя и свое поведение, и мотивы этого поведения, и мотивы мотивов, и ее реакции. Голос его внезапно стал дрожать, тогда он вдруг прибавил: “дочка”.

Она кивнула в знак согласия и лихо развеяла дым рукой. “Ты знаешь, у меня дома собака, я пойду, привяжу ее, а ты поднимайся в 32-ю квартиру чуть погодя, доченька”... Разумеется, никакой собаки у него не было, но он боялся соседских глаз и потому поспешил в свою квартиру, оглядываясь по сторонам: видел ли кто его с этой малолеткой?

Она поднялась вслед за ним. Не успела она нажать на звонок, как он распахнул дверь и подал знак заходить поскорее. Как только девочка нырнула в проход, он тут же запер дверь изнутри на ключ и пригласил ее на кухню.

“Нет, — сказал Мрат, наконец взглянув на меня, — ничего такого не было. Мы попили кофе, посидели, покурили, поговорили, и я ее отпустил с подарочком. Но она с тех пор стала приходить ко мне... — закончил он свой рассказ и показал на пакет, где было написано “ЦУМ”. — Это для нее...”

Я не знал, как относиться к этому рассказу: не слишком-то походил Мрат на Гумберта. Вот он плетется с жалким пакетом в руках мимо героических барельефов Дейнеки в своих не по возрасту кроссовках, но не требовать же с него по этому случаю жениться на старенькой Ирине

Родионовне?! А потом закон советского подземелья таков: каждый — кузнец своего счастья. Ну и что с того, что Мрат “Горбачев” — новокузнец?! Кузнец нового типа. Хотя куда уж там...

Станция метро “Павелецкая”-радиальная

А через полмесяца мы уже провожали совсем одряхлевшую после больницы Ирину Родионовну с Павелецкого вокзала на Кубань. Оказывается, она еще в начале прошлого года обменяла свою московскую квартиру на Краснодар с огромной по тем временам приплатой. Но призналась она мне в этом лишь на станции “Павелецкая”, что в моем подземном царстве была — по выражению одного из глебовских друзей — “моцарством”. Под легкими и изящными легатами колонн, напоминающими прыгучие нотные триоли Моцарта, Ирина Родионовна стала просить у меня прощения за то, что уезжает, что там, на юге, у нее сестра и племянницы, что она не чувствует себя защищенной в Москве, что боится теперь жизни здесь. Я чувствовал себя в какой-то степени виноватым за все происходящее. Хотя она этого не говорила, но получалось, что это я навлек на нее беду, от которой она теперь убегала. Точно так же, как на “Павелецкой” вдруг попадаешь из “моцарства” в узкую теснину двух пилонных рядов, ведущую к выходу, так и она, хоть и нашла выход, но и у нее, и у меня на сердце была эта самая теснина, и я опять забытым уже чувством вспоминал ту далекую мамину сказку о скале, забирающей в свое нутро родного человека. “Расколись, скала, расколись! — хотелось кричать мне мамиными словами. — Дай мне снова увидеть маму!” Увы, Ирина Родионовна навсегда уезжала на Кубань.

И опять на той же станции, где теснина двух военных пилонных рядов вдруг выходит в “моцарство” летних навесов, Мрат рассказал мне, что на самом-то деле случилось с этим обменом. Да, Ирина Родионовна, разрываясь между своей благородной добротой и своим гражданским бессилием, уже давно советовалась о возможном обмене вскрытую от всех нас с как человеком бухгалтерского ума. И хотя по началу 90-го года предлагаемый обмен был прекрасным: двухкомнатная московская квартира на четыре комнаты в центре Краснодара в обкомовском доме плюс 120 тысяч рублей наличными, Мрат тогда уже отговаривал ее, чуя все тем же бухгалтерским умом неминуемые катаклизмы.

Но смерть ли Руслана, побег ли Акима, или нападение на квартиру, а может, еще что сделали свое дело, и Ирина Родионовна решилась. Нет, краснодарцы не “кинули” бедную старушку, она получила свою 4-комнатную обкомовскую квартиру, и она получила тем же прошлым летом свои 120 тысяч — гигантские по советским меркам деньги. Но что они стоили сейчас? “Пачка туалетной бумаги, — как говаривал бухгалтер с лицом и повадками Горбачева и беспощадно добавлял: — Подтирать свою дряхлую жопу...”

Станция метро “Таганская”-кольцевая

После внезапного отъезда Ирины Родионовны Облонской мне, по существу, стало негде жить. Правда, Мрат согласился пустить меня к себе на месяц, но я полагаю, что добрая Ирина Родионовна заплатила ему за это. Искать ли кавказских дядюшек Акима, русско-еврейских друзей и собутыльников Глеба, азиатские концы Назара, хакасские отростки матери — куда, к какому табору прибиться?! В огромном городе я был как муравей, чей муравейник разворошили. И даже если муравейник не разворошили, то здесь, в муравейнике “Таганской”, народ был совершенно чужой: рыжие муравьи-захватчики поели всю мою семью. Я сидел и глядел в мамину телефонную книгу: те, кого я знал, или умерли, или поразъехались и были перечеркнуты в телефонной книжке, тех же, что остались незачеркнутыми, — я не знал, и их имена холодно смотрели на меня, как безымянные барельефы этой станции. И вправду, худо

человеку, когда некуда идти, — думал я по-достоевски.

В те годы в “Иностранке” был напечатан чей-то рассказ о породе людей, живущих в метро. Этот рассказ налетом мистики рисовал их чуть ли не пришельцами, узнающими друг друга по бледной, никогда не видевшей солнца коже. Но в моем-то случае не было никакой мистики, просто, жизнь оборачивалась таким образом, что, быть может, и мне оставалось разве что поселиться в этом разворошенном муравейнике метро.

Как-то я читал африканскую сказку о муравье, оставшемся в одиночестве без дома и без дела. Полз он, полз в своем безделии, пока не дополз до конца света, а оттуда переполз к самому богу Ньяре. Увидел бог Ньяра муравья и спросил: зачем, мол, мураш, приполз аж досюда? Пожаловался тогда мураш на свою бездомность и свое безделие, и сжалился над ним Ньяра, и дал ему сторожить подземный колодец с живой водой в пустыне. Стал мураш сторожить колодец днями, а по ночам по своей привычке стал таскать капля за каплей воду в свой пустой муравейник, чтобы заново оживить его.

Приходят днем звери к колодцу, просят напиться, а мураш им строго: “Нет, Ньяра велел мне сторожить воду!” — и не дает им ни капли. Приходит ночь, и мураш опять за свое: капля за каплей перетаскивает воду к себе в муравейник.

Рассердились звери, пошли жаловаться Ньяре, дескать, не дает нам муравей воды, умираем, мол, от жажды. Услышал это бог Ньяра, разгневался на муравья, приходит к колодцу — а там ни колодца, ни муравья...

Так, может быть, поступил и я сам, думал я, перетаскав всю живую воду своих воспоминаний в мое подземное царство, в мой московский муравейник, а потому и нет мне теперь жизни там, на поверхности земли, где меня готовы растоптать и жаждущие звери, и разгневанный бог Ньяра!

Остановитесь на мгновение в наземном зале “Таганской”-кольцевой, взгляните на смальтовый купол этого муравейника, где открывается страшный и голый космос Ньяры, и вы поймете мои ощущения...

Станция метро “Курская”

Тьмы в космосе, увы, больше, чем света. И это видно невооруженным глазом, как и невооруженной душой. Точно так же и в метро тьмы больше, нежели красоты станций. Но почему же я, черный и кожей, и лицом, и душой, так одинок в этой тьме? Мертвецы в соседних камерах скрипят костями, свежие — скрежещут еще и зубами, запах их разложения носят вдоль по подземелью черви, но душа не видит души... Ах, если б вы знали, как я соскучился по своей маме... Так на земле я скучал свои последние дни по той девочке, которую я назвал Олесей, уже не ища ее, но только лелея в уме.

Свет погасшей звезды, боль оторванной руки, эхо замолкшего звука...

Смешно сказать, но уехала Ирина Родионовна, а посылка с днепропетровским гусем и подсолнечным маслом опять пришла на Курский вокзал. О ней нам сообщили новые соседи — обкомовские краснодарцы, ставшие москвичами, и я привычно поехал на Курский вокзал к днепропетровскому поезду. Вы ведь знаете ощущение “*deja vu*”, когда происходящее сейчас вам уже знакомо, вы переживали уже это: стояли точно так же под информационным табло, гулкий голос вокзального диктора объявлял прибывающие и отходящие поезда, потом, когда хлынул поток пассажиров с днепропетровского поезда, женщина всплескивала руками: “Глядь, вот он, черненький, как корочка перекопченного сала!” — та же самая холщовая сумка с тем же самым увесистым гусем и плещущимся подсолнечным маслом. Все как было.

Но в этот раз я чувствовал, что теряю почему-то контроль над своими мыслями: они

вспыхивали и угасали, набегали одна на другую, говорил ли я эти слова им в ответ, или подумал наперед — я ничего не понимал. Сейчас я пошел в зал ожидания и увидел этот гриб, стоящий посередине, — думал я почему-то в прошедшем времени, а сам еще только открывал перед собой стеклянную дверь. Никогда со мной не происходило подобного, казалось, что уставшие мозги просто вырвало и масса, хранившаяся в моей черепной коробке, перемешалась, не зная ни будущего, ни прошлого.

Помню этот гриб, — силился я навести порядок, но помню ли я вот эту размалеванную девочку моего возраста, кружащуюся вокруг этой гигантской поганки? Кого она ждет? Не я ли должен кружиться вокруг колонны? Где? В какой реальности? Сосредоточься! Сосредоточься на ее лице! Погасшая сигарета, которой она то и дело размахивает, как будто рассеивает невидимый дым, больше ничего в руках, ни сумочки, ни скрипичного футляра... И кружится, и кружится...

Мне надо встать в стороне, остановиться, заставить мозги остановиться, я прислонюсь к холодному мрамору, сольюсь с черно-белой колонной, стану этой колонной, а девочка кружится и кружится, никак не остановится. Ее цыплячие голые коленки перебирают, как язычок внутри маленького колокола ее юбочки, и это все звенит в моих ушах; помада на сигарете, помада, размазанная на пол-лица, я никогда не видел такую крупную ночную бабочку, порхающую вокруг фонаря, но где ее крылья?! Как самка разворошенного муравейника в поисках нового семени, она нервно ускоряет свой круг, а потом обратно...

Мысли мои путаются, нет, это даже не “дежавю”, это что-то пострашней, что-то черное должно сейчас явиться в этот зал, я чувствую, как гусь бьется в моей холщовой сумке, как масло растекается по блестящему полу, что-то черное грядеше, откуда это? Из какой книги моих мозгов? Из какой литеры воспоминания? А малолетка все кружится вокруг гигантского фаллического светильника, и у меня начинают раздуваться брюки, я боюсь этой минуты, вжимаясь еще сильнее в черную колонну...

И вот из этого кошмара спускаются в подземелье огромные белоснежные кроссовки, я вижу, как перебирают они по ступенькам, за ними вырастают длиннющие ноги, сначала по колено, потом по пояс — в джинсах, какая-то замедленная съемка, или это — вязкая каша моих мозгов — раздутые у паха штаны — шаг и футболка, шаг и надпись — “fucker”, еще один — “Mother”, и вот оно — белозубое лицо черного спортсмена, снимающего эту малолетку и уводящего ее в глубь бездонного влагалища земли...

Мне надо молчать, чтобы не разорвалась голова, молчать, чтобы мозги не разбрызгало по полу, молчать, подавиться собой, ехавшим на эскалаторе и думавшим о том, о чем он только будет думать: как он встанет внизу на пустой постамент и вообразит напротив себя на таком же пустом пьедестале эту окаменевшую малолетку-проститутку...

Станция метро “Площадь Революции”

Если б знал я тогда, что это всего лишь предбанник, зал ожидания! За эти пятнадцать лет темной смерти (я умер уже больше, чем жил) мозги мои постепенно усыхали, выжимая воспоминания вовне. В конце концов в моей черепной коробке осталась — самое большее — орешина, а может быть, и вовсе усохшая горошинка черного перца, что катается из стороны в сторону, отзываясь на гул земли от проходящего поезда. Так что я возобладал над контролем, и теперь нечему размазываться жижицей по полу, нечему растекаться мыслью по мрамору...

Довез я тогда чужого гуся и чужое подсолнечное масло до Мрата, обрадовался Мрат неожиданному подарку и решил созвать пир. Сказал он мне тогда заговорщицки: “А почему бы нам не съесть гуся втроем? Позову-ка я свою ненаглядную, позову я свою малолетку!” Мне ли

было теперь отказывать, я жил у него на птичьих правах, а потому промолчал я, ничего не сказал. И позвонил он малолетке, позвонил своей зазнобе, пригласил на пир званый. Так и сказывалась сказка про гуся запеченного, да и гостей созванных, но не так делалось дело...

Последняя горошина черного перца, а может быть, и того меньше, последний катышек анаши, что катается в моей пустой черепнице, никак не избудется, то обожжет горечью, то сведет с ума своим пьяным дымом. Весь следующий день ощипывая и опаляя гуся, набивая его яблоками, оставшимися от больничного пайка Ирины Родионовны, я готовился ко встрече со своей сверстницей — несовершеннолетней любовницей Мрата, и опять на душе у меня происходило то, что происходило со мной вчера на “Курской”, не “deja vu”, а, скорее, “encore veera” (не “уже видел”, но “опять увижу”), мысль заталкивалась в мысль, как яблоки в нутро гуся, и я жарился в предположениях, как этот жирный гусь в духовке. Ведь это не Рождество, — думал я, и другая вспышка — а вдруг придет вчерашняя поблядушка? — перешибала ее, а с ней и белозубый черный спортсмен в футболке, на которой выведено злое “Mother-fucker”, как поведет себя старый развратник Мрат, как должен вести себя я?

Целый день раздувало мои штаны, я то и дело бегал от духовки в ванную, чтобы остужать свою плоть холодной водой, но что-то ныло в моем сердце, и я не мог понять природы этого нытья.

В антракте между двумя актами сервировки праздничного — непонятно по какому поводу — стола Мрат искупался, потом стал причесывать горбачевскую редкую шевелюру, повязал толстым — “виндзорским”, как он сказал, узлом свой старомодный галстук с бабочками и мушками и принялся время от времени выглядывать из окошка вниз во двор. Он волновался и даже заранее ревновал свою нимфетку к моему возрасту, к моему присутствию, к моему гусю... “Только не говори с ней про всякую рок-музыку!” — предупредил он меня, заметив, как я заведен. Я не мог ответить ему, голос так разбух во мне от молчания, что не помещался в горло, и я захлебнулся им, лишь мотнув головой.

В шесть гусь был уже готов, я проткнул его в последний раз вилкой и выключил газ. Духовка недовольно зашуршала, засверещала, зачирикала. Или то душа гуся пришла в последний раз попрощаться со своим бывшим телом... А может, то был уже звонок в дверь? Мрат мчался к глазку. Он распахнул дверь, в прихожую юркнула тень с пустыми руками, и я, склоненный с огромным столовым ножом в руке, не разгибаясь, понял: это была она...

Это была она — моя девочка Олеся... Как обрадовался я в то мгновение, как вскрикнул голосом, не вмещающим и продирающим горло, как я, наверное, подпрыгнул до потолка, проткнув его в небо ножом... И вдруг Мрат, этот старый и похотливый Мрат, воскликнул: “Москва! Вся моя Москва ко мне в гости!” и потянулся к ней, как паук, и она бросилась к нему на шею, как бабочка, как мураш, как мушка, и они закружились под лампой, и только ее голенькие, согнутые коленки, торчащие из-под колокола короткой юбочки, как язычок, как пестик, заколотили, заколотили без разбору в мою голову, в мое сердце, опутанные сетью...

И все взорвалось у меня внутри. Я не помню, как я бросился с ножом в руках, разрубать эту паутину, я не помню, куда девались вопли, летавшие вокруг меня, наподобие обрывков этой паутины, я не помню, как я очутился в пустом метро, на станции “Площадь Революции”, как и какой силой меня перенесло туда с окровавленным ножом за пазухой, как я оказался в этом капище у подножия мамы, сидящей со мною на руках... Я плакал невидимыми слезами, как тот мураш, наказанный богом Нярой за пропажу колодца с живой водой. Колодец слез моих иссох. Я пытался расшевелить маму ножом, но острие его лишь скрежетало по скользкому камню, и в конце концов вонзилось мне в бедро, и живая кровь смешалась с запекшейся и потянулась тонкой дорожкой по безмолвному капищу...

Станция метро “Кузнецкий мост”

Рана протяжно и глухо ныла, но еще протяжней и глуше ныла душа... Как звали эту речку? Черная, что ли? Уж точно, темноты на свете больше, чем солнца... Кровь поверх вздувшихся брюк запеклась цветом смородины... Или так называлась та река, от которой остался только мост, кузнецкий мост? Почему не новокузнецкий? Иссохла река, пропали два ее берега: берег тяжесть и берег нежность, и остался над ними извечной скобой сковавший их вместе мост. Мост над чем? Бился ли я у той иссохшей, иссякшей реки с Мратом, воскликнувшим страшно: “Москва! Вся моя Москва!”, вцепился ли я ему сначала в горло, потом в пояс, потом в ноги? Что произошло? Где мать моя и где моя девочка? Ведь сердцу, как при всякой потере, кажется: лишь отряхнись, и найдется потерянное, оно просто забыто в неподобающем месте — и ты уже там, а оно выглядывает из-за каждой слоновьей арки, кажется, только что было тут... или дальше, в следующей арке? Еще в следующей... И так мнится до самого конца кузнецкого моста, а того, что потеряно, — нет и нет. Нет ни этой реки, нет ни времени, ни правды — одно гермесово, гефестово, айдово подземелье. Москва... Моя Москва...

Станция метро “Пушкинская”

Я знаю, что испытывал черный Пушкин перед черной смертью. Чувство великого обмана. Как будто старая графиня сдала не те карты... И чувство великого бессилия — что бы ты ни сделал, все одно. Чувство бесконечного круга, выбиться из которого — это как ребенку сорваться с карусельной лошадки. Искал я свою Олесю, а нашел еще одну Москву...

Я таскал капля за каплей живую воду от бога Ньяры, чтобы очистить и себя, и свой муравейник от плевков айны, но я запутался между двумя мирами: мозги мои, скатавшиеся до точки, уже не помнят, где они — метро ли решили проложить через кладбище — все ближе и ближе стук поездов... Оживлял ли я сей мертвый мир ценой смерти живого, или наоборот... Уже скрежещут колеса по рельсам...

Я-то знаю, что чувствовал Пушкин после своей смородинной речки Черной, но знал ли он, что буду чувствовать я, приданный, преданный, проданный, стоящий, истекая кровью и болью, у самого края пустой вечерней платформы. Звуки поезда уже над головой... Или под ногами... Мамин ли голос я слышу впереди, из гремящей темноты, или же это вопль малолетней моей проститутки Олеси-Москвы в спину?! Пора! Черный мураш закрывает черный колодезь. Черный петух взлетает опять на черное дерево и невпопад кричит по-черному, нечеловеческим голосом: “Осторожно, двери закрываются...” — и черная молния поезда застегивается надо мной навсегда... Расколись, скала, расколись...

*Опубликовано в журнале:
«Дружба Народов» 2009, №6*